ВХОД В ПЛЕН БЕСПЛАТНЫЙ, ИЛИ РАССТРЕЛЯТЬ В НОЯБРЕ

*Спецгруппе,
которая отыскала меня в чеченских подземельях
и освободила из плена – с вечным благодарением.*

Автор

1

– Кто полковник?

– Я.

Встать и выпрямиться не успеваю. Удар сбивает с ног – профессиональный, резкий, без замаха. Однако упасть не дают наручники, которыми я прикован к Махмуду. Тот, в свою очередь, зацеплен за Бориса, мы все втроём наклоняемся, но падающего «домино» не получилось – устояли. А похожи, наверное, на покосившийся штакетник, схваченный одной цепью.

Кровь от рассечённой губы наполняет рот, хочется сплюнуть, но боевик стоит вплотную, не позволяя отвернуться, и приходится сглатывать кровавую ушку. Ничего, собственная. А вот мой взгляд на «Боксёра» оказался, наверное, столь выразительно презрительным, что он поинтересовался:

– Ну, и что увидел?

Вижу его красные от бессонницы глаза. Сам Боксёр в чёрной маске-чулке, взгляд его устремлен на меня через неровные, обтрепанные от времени вырезы. Впрочем, это встретились не наши глаза, а заискрились, оттолкнулись два оголённых провода. Хотя

боевику что отталкиваться. Он упирает мне в лоб ствол автомата, и откуда-то издалека, из курсантских времён промелькнуло: во время учений при стрельбе холостыми патронами мы накручивали на стволы круглые блестящие компенсаторы. Сам всегда улыбался, когда они мелькали в кино, а киногерои после автоматных очередей картинно падали с пятнами крови на теле.

Сейчас кровь в собственном рту настоящая, а ствол – угловатый, холодный. Да и какие, к чёрту, в Чечне во время войны холостые патроны! Пора уже привыкнуть и к тому, что меня бьют только за то, что полковник.

– Что молчишь? В контрразведке научился?

Ствол давит всё больнее, я и сам чувствую, что пауза затягивается, но нейтрального ответа найти не могу. А надо. Если не убили сразу, надо. Иначе навешают всех собак – от сталинской высылки чеченцев в Казахстан до приказа Грачёва штурмовать Грозный. Пленный отвечает за всё и за всех.

Осторожно отклоняюсь от готового продавить лоб воронёного ствола и столь же осторожно возвращаюсь к первому вопросу, даю полный расклад своей нынешней должности:

– Я – полковник налоговой полиции. Журналист.

– А это мы ещё проверим, – усмеваются под маской, но автомат от головы отходит. – Только запомни, полковник: если окажешься контрразведчиком, уши тебе отрежу лично.

Киваю головой, но не ради согласия, а чтобы таким образом оставить взгляд вниз. И больше его не поднимать: в затылок вопросы задавать труднее. Кажется, начинаю постигать первое и, скорее всего, величайшее искусство плена – не раздражать охрану. И не смотреть никому из них в глаза. Даже если я в чём-то и прав, у человека с автоматом всё равно больше прав. На меня...

Уловка проходит: исподлобья вижу, как охранник отступает на пару шагов, усаживается на сваленные в углу погреба доски. Привычно, стволом в нашу сторону, устраивает на коленях АКМ. Тягостно молчит. Тягостно для нас, троих пленников, потому что будущее предполагает только худшие варианты.

Хотя что может оказаться хуже плена? Только смерть.

Нет, я не прав даже перед собой. Лично я боюсь ещё и пыток. Не хочу боли. Страшно, что не выдержу. И сойду с ума, стану похожим на обезьяну. Если уж умирать – то лучше сразу.

Словно собираясь исполнить это моё желание, Боксёр встает. Сдержаться, взгляд – только на его ботинки: не нужны ни глаза его через маску, ни новые расспросы. Если бы можно было заморозить время или сделать его вязким! Тогда охрана стала бы двигаться словно в замедленной съёмке, исчезли бы резкость и неожиданности...

Получилось ещё лучше: Боксёр, постояв около нас, вообще уходит. Но почему? На какое время оставляет одних? С чем вернётся? Вопросы рождаются из ничего, и сейчас от них, в другой обстановке совершенно безобидных, зависят наши жизни.

Ботинки поднимаются по лесенке вверх, к люку. Ровно на эти же ступени попеременно поднимаю и голову. Хлопает крышка, и мы остаёмся втроём. Переводим дух. Оглядываемся.

Над головой – тусклая лампочка. Подвал огромный, хоть загоняй грузовик, а мы, мокрые и продрогшие после дождя, сидим на рулоне линолеума, словно воробьи. Говорить

не хочется, не о чем – мы мало знаем друг друга, да и боязно – вдруг оставлен «жучок». И – полная обречённость.

Вновь поднимается крышка. Торопливо опускаем головы. Почему Боксёр так быстро вернулся? Что скажет? Куда поведёт?

Останавливается рядом, и в голову вновь упирается ствол автомата. Тороплюсь напрячь, сцепить зубы, чтобы спасти во время новых ударов и их, и челюсть. Готов.

Поднимаю взгляд. Бей.

Но на этот раз картина более чем благодная: на стволе автомата, покачиваясь, висят три пары чёрных носков. В доброту и благородство после всего случившегося не верится, и решаюсь спросить:

– Нам?

Боксёр молча сбрасывает с «жёрдочки» подарок. Осторожно, всё ещё опасаясь подвоха, начинаем снимать мокрую обувь. Труднее всего сидящему в центре Махмуду – он вынужден принаравливаться то ко мне, то к движениям своего начальника, с которым его связывают наручниками с другой стороны. Наверное, так меняет свою обувь сороконожка, если, конечно, носит её.

Новые носки высоки, наподобие гольф, и хотя ноги приходится засовывать снова в мокрые туфли, всё равно становится теплее. Так что чёрные носки, хочешь не хочешь, оказались единственным светлым пятном начавшегося плена. Теперь опять замереть, лелеять добрую весточку...

Но чудо на этом не кончилось. На плечи падают одеяла. Да нет, какие одеяла – это опустила на нас свои крылья надежда: если нормально стали относиться, то, может, всё обойдётся и отпустят? А что? Я хотя и в погонах, но журналист. Борис Таукенов – управляющий филиалом Мосстройбанка в Нальчике. Махмуд Битуев – водитель инкассаторской машины. Мы не воевали, не стреляли...

Боксёр словно читает мысли и выносит свой вердикт:

– Короче, ты – вор, – указывает на Бориса. Переводит автомат на меня: – Ты – пособник вора. А ты, – оружие в сторону Махмуда, – возишь воров.

Машинально отмечаю: лучше пусть держат за вора, чем за контрразведчика...

– Мы деньги не вывозили, а привозили в Грозный. На зарплату вам же, чеченцам, – не соглашаясь, начинает кипятиться Борис. Ему что, его уши не дороги? – Это большая разница.

– Вы не тем чеченцам помогали и не той Чечне, – обрывает охранник. – А потому будете наказаны и казнены.

Нет, одеяла не дают гарантий на надежду. К тому же тёмно-синий шерстяной квадрат, доставшийся банкиру, наискосок прострелен автоматной очередью. Борис тоже замечает дыры, замирает. Знак свыше? Сбросить его на землю? Ботинки Боксёра рядом, тому не до сантиментов и психологических тонкостей, и Таукенов медленно набрасывает, словно судьбу, простреленное одеяло на свои плечи. Первая чёрная метка выставлена.

– Короче, сидеть на месте, – предупреждает Боксёр и снова исчезает в люке.

Укутываясь в одеяла, пытаемся удобнее и поплотнее усесться. На часах около пяти утра, ночь – кстати, самая короткая в году – уже почти прошла, и нас, несмотря на всё случившееся, постепенно одолевает дремота. Краем сознания цепляю, что это глупо – спать перед тем, как тебя, скорее всего, расстреляют. Но усталость, оказывается, смыкает

глаза даже смертникам. А ведь ещё сутки назад я был свободен и строил какие-то планы...

2

Что есть российский офицер в плену у чеченцев? Существует ли у него возможность выжить, бежать, а в какие моменты судьба висит на волоске? Нужно ему рассчитывать только на свои силы или за него станут бороться товарищи и государство? Что происходит с трёх сторон плена: у родных и близких пленника, у него самого и у охраны? Каковы они, подземные тюрьмы конца двадцатого века?

Я прилетел в Грозный в середине июня 96-го, когда война дышала ещё полной грудью.

Её лёгкие находились где-то в чеченских предгорьях, а вот сердце – сердце в Москве. И именно оно, заставляя войну дышать и жить, гнало по артериям оружие, продукты, боеприпасы и людей. Это в первую очередь были рабоче-крестьянские ребятишки-солдаты, не сумевшие отмазаться от армии, и brave до первого боя контрактники, которым за войну, исходя из рыночных законов, уже платили деньги. А возглавляли колонны, естественно, офицеры, ошалевшие от безденежья, отсутствия жилья, задёрганные политическими заявлениями депутатов и невесть откуда повылезавших правозащитников «выполний – не выполниай», «стреляй – не стреляй», «герой – подлец».

Назад, по венам, из Чечни выталкивались цинковые гробы, знакомые по Афгану как «груз – 200». Не прерывалась ни на день цепочка живых, но искалеченных солдат, подорванной техники и окончательно во всём разуверившихся, увольняющихся из армии офицеров. Всё это перерабатывалось, сортировалось в военкоматах, госпиталях, складах артвооружения, где вновь готовились живительные коктейли для поддержания войны.

Эти два потока текли навстречу друг другу совсем рядом, нигде, однако, не пересекаясь. Кто-то умный рассудил: а зачем преждевременно показывать здоровым и сильным будущим героям, какими они могут стать после первого же боя?

Что-то подобное я отметил ещё по афганской войне: ташкентский аэропорт Тузель, откуда в Кабул перебрасывался ограниченный контингент наших войск, располагался всего в пятистах метрах от деревообрабатывающего завода, где работало так называемое «нестандартное подразделение» по изготовлению гробов для этого самого ОКСВ. Один из лётчиков военно-транспортной авиации, развозивший по стране «груз – 200», однажды признался мне:

– Знаешь, когда я почувствовал, что в Афгане идёт настоящая война? Думаешь, когда без передышки забрасывали туда людей? Совсем нет. Когда карта, на которой мы отмечали аэродромы посадок с погибшими, оказалась сплошь утыкана флажками...

Впрочем, всё это больше политика, в которую мне никоим образом не хотелось влезать. Моя командировка в Чечню по-журналистски выглядела куда интереснее: можно ли собирать налоги во время войны? И с кого? Тема совершенно новая в нарождающихся рыночных отношениях, и покопаться в ней первому – нормальная мечта любого нормального газетчика. Держал в уме и вторую возможность – собрать впечатления для своей новой книги «Спецназ, который не вернётся». Я должен был своими глазами увидеть, где погибали мои литературные герои – дурная привычка добывать материал для

книг, а не высасывать сюжеты из пальца, «сидя» на спине. К тому же на восстановление Чечни выделялись фантастические суммы, все твердили об их загадочных исчезновениях, но дальше московских сплетен дело не шло. Мечталось заглянуть и за эту ширмочку...

Сам Грозный даже спустя полтора года после его взятия представлял мрачную картину. Центр лежал в сплошных развалинах. Подобное могла сотворить только авиация, и вспомнились пресс-конференции о том, что современное вооружение способно наносить точечные, избирательные удары. Хоть в открытую форточку.

Точечные удары в этой войне – это когда на российских картах определили точку – российский город Грозный, и в неё, не боясь промахнуться, вкладывали боезапасы российские же бомбардировщики. По российским жителям. В большинстве своём по фронтовикам и русским, которым, в отличие от разбежавшихся по сельским родственникам чеченцев, уходить было некуда. Пора признаться и в этом. И какие там открытые форточки...

Накануне войны министр обороны Павел Грачёв, правда, убеждал, что способен взять город за два часа одним парашютно-десантным полком (или двумя полками за один час, что всё равно относится к полному бреду). Если уж готовилась спецоперация, то её следовало проводить ещё меньшими силами. В 1979 году в Афганистане, в чужой стране, одним «мусульманским» батальоном и двумя поварами-разведчиками сумели поменять неугодный Кремлю режим Амина, а здесь...

А здесь в новогоднюю ночь 1995 года в узкие улочки Грозного ввели танки.

Господи, в каких академиях обучались генералы, которые позволили технике войти в город без прикрытия пехоты? Торопились преподнести подарок министру, отмечавшему в Новый год свой день рождения? А тот, в свою очередь, мечтал о праздничном рапорте Президенту? Думали взять дудаевцев «тёпленькими» после застольных возлияний? Но к тому времени чеченцы перешли на мусульманский календарь и подобные новогодние празднества уже не отмечали. Тем более спиртным, запрещённым по шариату.

А посчитал ли кто-нибудь количество гранатомётов, оказавшихся в руках боевиков? Танков и артиллерии, оставленных в мятежной республике по решению правительства Гайдара? Учли, в конце концов, отчаянный, самовлюблённый характер горцев, которым с самых высоких местных трибун дудаевцы уже внушали, что у чечена должна быть самая красивая девушка, самая модная одежда, а если он угоняет в России автомобиль, то самый шикарный? И что любой кавказец изначально выше русака?..

Родился тогда и анекдот, обожаемый боевиками, а потому добавляющий кое-что в понимании их характера.

– Встречает чечен мужика и говорит: направо не ходи, там тебя ограбят через сто метров. Налево не ходи тоже, ограбят через двести метров. Вперед – тем более, потому что ограбят за первым поворотом. Давай я тебя ограблю здесь.

То, что Чечня и Дудаев зашли слишком далеко и нужно что-то предпринимать – в этом никто не сомневался: жить отдельно от России, но за её счёт – слишком откровенная наглость. Подобное требовалось пресечь хотя бы в назидание другим. Но танки, самолёты по той самой точке на карте... Аргумент оружия не есть признак силы. Скорее наоборот. Им удовлетворяются политические амбиции и даже наказываются вместе с неугодными лидерами целые народы, но никогда не развязываются узлы. Тем более в национальном вопросе, где как бы все правы...

Федеральные войска взяли развалины города через несколько недель упорных боёв, оставив с обеих сторон десятки тысяч убитых и раненых. И тут же завязли в бесконечных боях местного значения. Ещё один анекдот, уже русский:

– Что высматриваешь, рядовой Петров?

– Да не пылит ли тот парашютно-десантный полк, товарищ капитан, который закончит эту войну за два часа.

– Э-э, займись-ка делом – набей патронами магазин для очередного боя. Пыли той можно ждать годами...

Зато не по артериям и венам, а по каналам, неведомым простым смертным, потекли полноводной рекой из Москвы на отстройку только что самими же разрушенного деньги. Много денег. Грузовики денег. Вроде не разучились с советских времен помогать тем, кому трудно.

Двадцать строительных организаций, получивших эти суммы и право на восстановление Чечни, в свою очередь создали по два-три десятка субподрядных организаций, передоверив им строительство и поимев на этом свои проценты. Новые хозяева денег, не мудрствуя лукаво, родили ещё несколько десятков бригад, и тоже не бескорыстно. В конечном итоге на «чеченские» деньги насело около тысячи строительных организаций, которые в Чечне на налоговый учёт не стали и, соответственно, никаких налогов не платили – ни дорожных, ни пенсионных, ни каких-либо других. Деньги крутились где угодно, но только не в республике, которой предназначались.

Это раскопал не я, а налоговая полиция Чечни. И сумела доказать Москве, что подобным образом восстанавливать республику можно бесконечно долго. Президент России легко издал специальный указ, обязывающий всех строителей стать на учёт в налоговые органы по месту работы. И...

И когда я знакомился с Грозным, на его развалинах увидел всего один экскаватор, который, как оранжевый пыльный жук, копошился на развалинах бывшего президентского дворца. Один на весь город! Б.Н. Ельцин, к сожалению, со своими указами был грозен только для ближайшего окружения и личной администрации, дрожавшей за свои кресла.

Сама налоговая полиция размещалась в здании полуразрушенного детского садика. О его прежней принадлежности напоминали лишь песочницы, приспособленные под курилки и места чистки оружия, широченные окна, ныне забаррикадированные мешками с песком, да бывшая воспитательница Людмила Ивановна, перешедшая в уборщицы. Пожалуй, ещё рисунок колобка на стене, насквозь прошитый в румяную щёку рваным осколком. Зато перед ним, не испугавшись взрыва, сидела целехонькая лиса и размышляла: кушать ей искалеченного уродца или полакомиться чем-нибудь более вкусным. Такая вот старинная сказочка в современном интерьере.

Кто знал, что в течение всего пребывания в Грозном я сам был подобен колобку, а за мной осторожно, чтобы не спугнуть, наблюдала другая лиса.

– На тебе, полковник, мы поставили метку, когда ты только позвонил в Грозный и сообщил о своём приезде, – признаются потом боевики. И с похвальбой, которая частенько развязывала им языки, пояснили: – У нас ведь в каждом государственном учреждении сидят свои разведчики и осведомители. Или сочувствующие. И пусть попробуют не сообщить что-то важное...

А я, наивный, трогательно прощался с теми, кто вышел меня проводить на попутке в

Нальчик. А может, её специально подсунули мне, да ещё сопроводив предложение улыбкой:

– Не побойтесь ехать без охраны?

Что мог ответить я остающимся под пулями ребятам? Что боюсь? Что требую сопровождения? Подловили, подловили на десантной гордости, хотя афганский опыт подсказывал: зря сажусь к незнакомцам. А учил на собственной шкуре в Афгане: не бойся бояться, если хочешь улыбаться, а не плакать в этой жизни. Перестрахуйся. Во враждебной среде главенствует закон крокодила, обожаемый в ГРУ, – Главном разведуправлении Генштаба: если вошёл в одном месте, то выйди в другом. Крокодиловую кожу для дамских сумочек и мужских портмоне добывают элементарно просто: рептилии возвращаются из реки обязательно в том месте, где в неё вползли. Охотники и вкапывают именно на этих следах остроконечные пики, о которые животные сами же и распарывают себе брюхо. А всего-то и следовало – изменить маршрут. Ведь скорее всего именно среди провожающих оказался тот «охотник», кто передал по рации боевикам после нашего отъезда:

– Берите инкассаторскую «Ниву», они поехали по старопромысловской дороге.

Взяли красиво. Через час пути обогнавший нас БМВ стал подсекать «Ниву», пытаясь оттеснить её в кювет. Мы ещё ничего не поняли, а из окон высунулось по паре пулемётов. Резко оглядываюсь. Пристроившаяся сзади «шестёрка» не напоминала пулемётную ёлочку только потому, что основным стволом в ней оказался гранатомёт. А нам жестами уже приказывали остановиться.

– Конец. Боевики, – шепчет сзади Махмуд.

Я ещё пытаюсь надеяться на недоразумение, ведь окружающие нас люди – в родной десантной «пятнашке». Почему не взял оружие!

Борис, после выезда из Грозного сменивший за рулем водителя, по всем правилам дорожного движения замигал поворотом и съехал на обочину. На этом взаимные любезности закончились. Не успел он заглушить мотор, как выбежавшие из машин люди в камуфляже буквально вырвали его с сиденья. В распахнутые дверцы всунулись два длинноносых «красавчика» – так чеченцы нарекли пулемёты. Упираются в нас с Махмудом:

– Руки за голову, голову – в колени.

Команды и движения отработаны до автоматизма – не у нас, конечно, а у боевиков. Водительское место уже занято, Борис исчез. Кортёж, прервав движение на трассе, разворачивается и мчит в обратную сторону. Никто не вмешался в происходящее, не выбежал на помощь, не погнался вслед. Начинает доходить, что всё происшедшее – по-настоящему, что это – плен и жизнь обесценилась до одной пули. До лёгкого нажатия на спусковой крючок пулемёта, приставленного к голове.

Лоб, уткнувшийся в колени, покрывается потом, от него же липко горит спина. Неужели страх? Он – такой?

Пытаюсь лихорадочно вспомнить, что у меня есть такого, за что сразу поставят к стенке. Блокнот с записями «нечаянно» уронил, когда распахивали дверцы, и его удалось затолкать ногами под сиденье. Найдут, конечно, но потом. А вот отпечатанное на бланке редакционное задание – это моя смерть. Особенно строчки о том, что я должен собрать материал о мужестве чеченских налоговых полицейских, защищавших Грозный от

боевиков. Зачем печатал задание и брал с собой? Ну страдал бы склерозом и не помнил, зачем еду в Чечню, тогда простительно. А так будет мне сейчас чужое мужество...

Но я – уже пропал, а вот фотоаппарат... На последних кадрах – ребята из физзащиты, охраняющие здание с раненым колобком. Их лица крупным планом. Подставил. А перед этим – снимки, где я в окружении воронежских омовцев. Снялись на память совершенно случайно, когда они подъехали проверить наши документы. Милиционеры обвешаны оружием, победно вскинули вверх кулаки. Будут мне и кулаки...

Но кулак взметнулся и вбил в меня, как в тренировочную грушу, когда раскрыли удостоверение.

– По-олковник?! Мразь.

Машины загнаны в лесополосу. Документы изучает огромного роста парень с вырубленным словно из камня лицом. Наверняка из числа непримиримых. Ещё ни он, ни я не знали и даже не предполагали, что именно он через несколько месяцев займётся моим обменом, а на прощание скажет:

– Я тебя взял, полковник, я тебя и отдаю. Но когда это ещё будет... Пока же остальные боевики, хоть и с долей стеснения, отворачиваясь, но берутся в наших дорожных сумках, сортируют и делят мои командировочные деньги, спорткостюм, рубашки, туфли. Улучаю момент и незаметно, пальцами разрываю браслет часов: может, после этого не позарятся на них? Часы очень дороги, подарок. И главное, чтобы не прочли название – «Генеральские», ибо за полковника уже получил. Как же в плену начинает выпирать любая мелочь! И как легко взяли!

В Афгане вообще-то во мне сидело больше боевой настороженности. По крайней мере, там на операции не выходил, не убрав из карманов всё, что могло говорить о моей принадлежности к военной журналистике: почему-то был убеждён, что из возможного плена пехотного лейтенанта обменяют быстрее журналиста. А вообще на случай возможного плена всегда подальше откладывались одна граната и патрон- «смертничек», чтобы случайно не израсходовать их в пылу боя: готовность на собственный подрыв или самострел отложилась в мозгу, как загар под афганским солнцем – не смоешь и не выветришь.

Рассчитывались варианты и при движении в колонне. Сидели, например, всегда на броне, но одной ногой – в люк. Знали: при стрельбе снайперов можно быстро юркнуть вниз, а ежели подрыв на mine или фугасе, то оторвёт всего лишь одну ногу. Я жертвовал правой, друг – левой. Чтобы потом покупать одну пару обуви на двоих. Знали все и в комнате: в случае гибели или плена то, что лежит в тумбочке на верхней полке, уничтожается, а остальное отправляется домой.

Существовали ещё сотни мелочей, которые, оказывается, бронезиловым оберегали нас от непредвиденностей и случайностей. Не потому ли за девять лет афганской войны мы потеряли солдат меньше, чем при одном штурме Грозного? Тогда, в Афгане, всех командиров за подобное прямым ходом отправили бы на скамью подсудимых. Слишком быстро забыли Афганистан. Его уроки. Я – тоже.

И сразу же поплатился. Хорошо, что дома сказал только сыну, куда еду. Значит, там хватятся не раньше, чем через неделю. Догадался предупредить о выезде и дежурного в Нальчике, там после восемнадцати часов начнут волноваться по поводу моего отсутствия. Позвонят оперативному дежурному в Москву. Так что можно надеяться, что часов с

десяти вечера начнутся поиски. И если сразу не расстреляли, значит, время работает на нас. Надо тянуть время...

Махмуда и Бориса отвели в сторону, разбираются пока со мной, оставленным в кабине.

– Где оружие?

– Я приехал без него.

– Мужчина на войне должен быть с оружием. И стрелять из него, – усмехается Непримирымый. – А это чьё?

Из-под водительского сиденья, с расчётом на эффект, извлекаются пистолет Макарова и винчестер. Подкинули?

– Моё, – подаёт голос Махмуд.

Непримирымый не поверил, потому даже не обернулся. В самом деле, как это так: полковник – и без оружия!

И тут доходит – да это же полное пренебрежение к боевикам! Они наводят страх на Россию, захватывают её города, а здесь, под носом, полковники раскатывают без оружия и охраны.

– Смелый, что ли?

Смелость или трусость здесь ни при чём. Всего лишь афганский опыт, вот здесь как раз сработавший: пистолет на войне только мешает, а против «красавчиков» и гранатомёта в засаде – новогодняя хлопушка страшнее. И всё-таки хорошо, что меня не сопровождала охрана. Завяжись бой, летели бы от всех нас одни ошмётки.

Наконец вытаскивают из машин и меня. Руки сразу назад, в жёсткий захват наручников. «Нежность» называются: чуть пошевелишься, из стальных колец мгновенно вылезают шипы. Уткнув головой в машину, обыскивают. Вытряхивают карманы. Рассматривают часы, которые подстреленной птицей машут оборванными крыльями. Пренебрежительно возвращают:

– «Генеральские»... – Мол, не мог «Сейко» для нас приобрести. – Устраивайся, – проведя лицом по борту машины, бьют по ногам, сбивают на землю.

Оберегая лицо, стараюсь упасть на бок, как при парашютных прыжках. Локтём впиваюсь в чернозём. Придётся отстирывать пиджак.

Идиот! Каким нужно стать идиотом, чтобы думать о подобных мелочах. Чтобы вообще ехать в эту командировку. Кому что доказал? Хотел впечатлений? Налоги и война... Бред! Война – это боль, грязь, страдания. Смерть. Бессилие слабого и безоружного. Упоение своей всеильностью человека с оружием. Игра своей и чужими жизнями. Плен. «Спецназ, который не вернётся». Я не спецназ, но уже ясно, что не вернусь тоже. Накаркал.

Начинает накрапывать дождик. Подводят Бориса и Махмуда, их сковывают одними наручниками. Автоматчики стоят по кругу, один из них уже в моей рубашке. Непримирымый рассматривает мои книги, найденные в сумке. Вычитал в сведениях обо мне что-то неприятное для себя:

– Значит, воевал в Афганистане? Убивал мусульман? А ты знаешь, что они наши братья?

Сзади кто-то бьёт ногой и прикладом. Сдерживаюсь, не оглядываюсь. Да и что это даст, тем более, что за Афган у меня медаль «За отвагу» и орден. Надо надеть «рубашку»

и держать удары. Бьют – значит выпускают пар. Они должны бить, это для них психологическая разрядка. Держать удары... Держать... Всё равно держать...

Выручая меня, недалеко от лесополосы затарахтел вертолёт. Ищут нас? Вдруг с трассы всё-таки передали на блокпост о захвате инкассаторской машины и начались её поиски?

Появление «вертушки» настораживает и конвоиров. Они выставляют в её сторону оружие и заметно оживляются, когда гул смолкает. В сумке отыскался, наконец, и фотоаппарат. Завтра проявится плёнка, и мой чистосердечный ответ про отсутствие оружия расценят как издевательство: на снимке меня обнимали, кажется, четверо воронежских пулемётчиков.

Глупо. Всё глупо в этой командировке...

– Ну, а теперь колись, откуда ты, – нависает каменной глыбой Непримирымый.

– Из Москвы. Налоговая полиция России.

– Сказки рассказывай на ночь детям. Из ФСБ или ГРУ?

– Из полиции.

– Ты рискуешь вывести меня из терпения. Я ясно спросил.

– Мои документы у вас.

– «Крыша». Всё это, – он потряс удостоверением, журналистским билетом, книгами, – прикрытие. Ты фээсбэшник и выполнял какие-то сложные задания, потому что в сорок лет просто так полковниками не становятся.

Такой «аргумент» крыть нечем, остаётся пожать плечами и молчать. Хорошо, что не два года назад поймали: полковником я стал в тридцать восемь. Просто не прятался от Афгана. На Курилах был, на Памире. Спускался в ракетные шахты, заходил к врачам в операционные. Записывался в отряд космонавтов, прыгал с парашютом и форсировал в танках реки по дну. Теперь можно спросить: зачем? Всё обрывается, когда тычут мордой в чернозём.

Чуть в стороне от нас подъезжают и отъезжают машины, около нас появляются и исчезают всё новые люди. Им приятно пнуть меня, но делают это сзади, воровски: то ли не хотят показывать лиц, то ли им интересно наблюдать, как я дёргаюсь от неожиданных ударов. А лично мне становится всё равно. Первый испуг прошёл, и хотя безысходность осталась, определяю для себя главное – собраться, не паниковать. Что будет – то и приму. От меня сейчас ничего не зависит.

– Ты что такой спокойный? – видимо, я слишком явно посылаю судьбу по течению, и это замечается боевиками. Недовольны: – Ну-ну, посмотрим на тебя через пару часов.

Прячась от дождя, Непримирымый залезает в кабину и смотрит на нас, лежащих на земле, оттуда. Бориса и Махмуда дёргают меньше: всё же мусульмане, соседи-балкарцы. Их могли бы вообще-то и отпустить, это предписывает тот же закон гор. Одному оставаться, конечно, тяжело, но зато они хоть что-то сообщили бы обо мне на волю.

Постепенно темнеет, и вспоминаю сегодняшнюю дату – 21 июня. Самый длинный день в году. Самый несчастный. Наверное, самый несчастный...

Подъезжает ещё одна машина. Меня поднимают, приковывают наручниками к дверце машины. Боевики расстилают газету, выкладывают продукты – колбаса, хлеб, бананы, помидоры, сок. Приглашают к столу сначала нас, а когда мы, скромничая, отнекиваемся от угощения, настоятельно рекомендуют:

– На вашем месте мы бы кушали. Вами заинтересовались в горах, а там кормить не будут. Вообще-то, по правде, жалко вас.

Спасибо, пожелали приятного аппетита. Хорошо, что хоть честно и откровенно. Впрочем, им-то кого и чего стыдиться? Хозяин прав даже тем, что пьян...

Вот только бы наши поторопились с поисками. Сегодня пятница, считаем, что день прошёл. В субботу Управление собственной безопасности налоговой полиции, которому предписано разбираться как раз с захватами и освобождением заложников, всегда на службе. До обеда всегда на рабочем месте и Директор. Значит, завтра уже что-то может быть предпринято по моему поиску. Если давать два-три дня на раскачку и переговоры, то через неделю можно ждать первых результатов. Если, конечно, в горах сразу не расстреляют. Выдержать неделю.

Как долго!

Из оперативного сообщения № 112:

«26.06.96 г. начальник дежурной части УФСНП по Чеченской Республике по телефону сообщил, что находящийся в командировке по Северному Кавказу полковник налоговой полиции Иванов Н.Ф. 21.06.96 г. выехал из г. Грозный вместе с управляющим филиала “Мосстройбанка” по г. Нальчик Таукеновым Б.А. на бронированной автомашине “Нива” гос. №.....в Нальчик. На 12.00 сегодняшнего дня вышеуказанные лица к месту назначения не прибыли.

Отделом собственной безопасности налоговой полиции Чечни проводятся розыскные мероприятия.

Ответственный дежурный Дежурной части
Федеральной службы налоговой полиции России».

На сообщении тут же появится распоряжение директора ФСНП России генерал-лейтенанта налоговой полиции Сергея Николаевича Алмазова для начальника Управления собственной безопасности:

«Прошу принять срочные меры к розыску, а также разобраться с причиной задержки информации».

Второе выяснить оказалось не сложно: по ряду причин всё это время с Чеченской Республикой отсутствовала даже космическая связь, а Нальчик не стал докладывать в Москву о моём отсутствии – думали, просто не стал заезжать в Управление, занялся своими делами. Но сложнее всего оказалось с первым пунктом распоряжения Директора...

Сколько возвышенных слов посвятили люди самой короткой ночи в году! И бархатная она, и самая звёздная, и тем не менее закат в ней с зорями целуется, и быстрокрылая, и светлая...

Пленная она!

Лежу прикованный цепью к батарее в какой-то комнатухе с затопленным,

провонявшим всё туалетом. Цепь короткая, и единственное, что удаётся, – это иногда садиться на придвинутую к стене кровать. Борис и Махмуд тоже устроились на кровати. У них она одна на двоих, как на двоих продолжают оставаться и одни наручники. Бориса время от времени выводят на кухню покурить, и водитель тогда блаженно разминается, освободившись от сямского наручникового близнеца.

В комнате постоянно два-три охранника, которые расположились в противоположном углу, постелив на пол одеяло. Не забывали подчеркнуть свое благородство:

– Мы у вас даже подушки не забрали.

Эту черту кавказцев знаю давно: сделать на копейку, а вообразить и расшуметься на рубль. Хотя прекрасно понимаю, что и копейки мог не поиметь. А вместо возлежания на кровати мог бы висеть на этой же цепи, но на дыбе. Так что в плену надо радоваться медякам и в самом деле считать их за рубли. И без иронии.

А вообще-то мы здесь не должны были находиться. Из лесополосы с первыми признаками темноты нас перевезли в горы, но сильный артобстрел, видимо, помешал добраться до цели, и мы вернулись. Начинаем привыкать к повязкам на глазах: куда возят и привозят – ничего не видим. Зато водят, ухватив под локоть, умело, практика чувствуется отменная. Да и цепь на батарее стесала уже всю краску – знать, не я первый лежу на этих одеялах. Повторяю как заклинание – не паниковать. События вокруг станут происходить вне зависимости от моих желаний, и надо быть готовым принимать их.

– Ты что это всё время спокоен? – бесит Непримиримого как раз это моё состояние. Если я хоть чуть-чуть знаю кавказцев, то паникёров и трусов они вообще презирают. Но и не любят особо горделивых. Видимо, напоказ выставлять свои внутренние решения не следует, надо чуть подыгрывать, чтобы не оказалось себе дороже.

Опускаю голову, начинаю отрешённо смотреть в стену, но поворот головы такой, чтобы краем глаза наблюдать за происходящим в комнате.

Непримиримый только что приехал, разбудив всех. Выложил на стол неизменный набор: колбаса, огурцы, хлеб, «пепси». Словно судьбу, переламывает пополам палку колбасы. Среди огурцов выбирает самый крупный и смачно, словно нашей судьбой, хрустит им...

Нет, у Бога, как известно, по мелочам не просят, так и сравнения с судьбой лучше не трогать.

– Или думаешь, что всё обойдётся?

– Продадим в рабство чабанам в горы, запоёт по-другому, – устало, словно ему надоело меня уговаривать выбирать судьбу, отзывается из своего угла рыжий охранник. Больше похожий на украинца, чем на чеченца.

– Года на три, – соглашается Непримиримый.

Трёх откусов ему хватило, чтобы уничтожить и огурец. Нас, пленников, тоже трое. Из Грозного мы выехали в три часа дня. Трижды обвила батарею цепь. На три года в рабство... Отвлекаться, не паниковать...

– А он, наверное, думает, что убежит. – Рыжий принялся за свое любимое занятие, прерванное появлением старшего: щёлкает вверх-вниз флажком предохранителя от наставленного на нас автомата. Сказал таким тоном, что становится ясно: от них в самом деле ещё никто не уходил.

– Сухожилия перережем, пусть попробует, – вроде напарнику, а на самом деле мне

сообщает возможное развитие событий Непримирымый.

Все это – вместо «доброе утро» и «приятного аппетита». Плен. А мысли считывает, как с компьютера. Психолог.

– И ещё кое-что отрежем. Лишнее. – Непримирымый поднимает палку колбасы, отсекает ножом кругляк. – Как насчёт принятия мусульманства, полковник? Знаешь, что отрезают?

Тешатся. Им можно. Им можно всё. Но до чего дойдут реально? Что сейчас делается в налоговой полиции? Дома?

Из рассказа

начальника Центра общественных связей ФСНП России

генерал-майора налоговой полиции Н.Медведева:

«После первого сообщения об исчезновении решили осторожно позвонить домой, жене: вдруг у неё есть какие-то дополнительные сведения. Спрашиваем аккуратно: Николай на связь не выходил? И для оправдания: мы ему здесь хотим ещё одно небольшое задание подбросить. А жена уже насторожена: мол, всегда из любой командировки давал о себе знать, а на этот раз почему-то молчит.

И тут мы прокололись сами, как бы равнодушно пожав плечами:

– Ничего страшного, просто из Чечни очень трудно дозвониться.

– Из какой Чечни? Он же улетел в Ставрополь!

То, что ты пропал, становилось ясно. Собрались всем Центром: что делать в первую очередь? Наметили так.

Во-первых, каждый день звонить жене. Врать, будто нашли меня в дудаевской тюрьме, но разведчики с крыши одного из домов ежедневно видят меня на прогулке. Зарос, похудел, но бодр и здоров.

Затем поднять волну публикаций и сообщений в центральных газетах, на радио и телевидении с акцентом на то, что захвачен в первую очередь писатель Иванов, а моё воинское звание – это вторично и почти случайно у него.

Обратиться в Совет Безопасности, Государственную Думу с просьбой оказать содействие в освобождении. Подготовить встречу руководства налоговой полиции с представителями чеченской диаспоры в Москве. Подключить к вопросам освобождения Ассоциацию российских банков и «Круглый стол бизнеса России», поскольку пропал и Борис Таукенов, представитель одного из банков. Подготовить обращение писателей России к руководителям Чеченской Республики.

4-го и 5-го июля практически во всех центральных СМИ информация о захвате прошла».

Из домашних рассказов:

«После разговора с Медведевым жена позвонила моим родителям на Брянщину, где отдыхали дети. Отцу с матерью ничего не сказала, но сын Санька, ничего не объясняя старшим, засобирался домой: он единственный знал, куда я поехал и что мне могло грозить. Пошёл искать с двоюродным братом по селу сестру. Около магазина их подозвали незнакомые взрослые парни. Сына неожиданно скрутили, младшему брату

наказали:

– Беги домой. Скажешь, брата в плен взяли. Пусть дают выкуп – выпить и закусить. И быстрее.

Потом сопоставляли эти два пленения, улыбались. Но тогда младшой побежал домой, к своему отцу, моему старшему брату Виктору. Тот, не долго думая, схватил дрын и бросился к магазину. Увидев, какая выпивка и закуска их могут ждать, охранники дали дёру. Освобождённый пленник рассказал Виктору, в каком плену мог находиться я.

В поезде в купе в попутчиках сыну и дочери оказался милицейский майор. Он разговорился с Надей, та похвасталась моей книгой.

– Так это твоего папу захватили в Чечне в заложники? – удивился майор, разглядывая фотографию и фамилию автора.

– В какие заложники? – вытаращила глаза десятилетняя Надежда.

– Да мало ли Ивановых в России? – попытался смазать всё сын, а сам уставился на попутчика: откуда вы знаете?

– Только что по радио передали, – виновато развёл руками милиционер, отведя его в сторону. – А я думал, вы знаете.

В селе одной из последних о пленении узнала мама. Оберегали её долго, не включали радио и даже не давали одной выйти на улицу, дабы ненароком кто-нибудь не сообщил новость.

Первой не выдержала её подруга, журналистка местной «районки» Валентина Григорьевна Капкова:

– Я больше не могу. Получается, что она, ничего не зная, смеётся, а её сын в это время... Не по-божески это, надо сказать.

Село наше партизанское, но Великая Отечественная подзабылась. Афганское лихо прошло стороной, хотя я как раз полтора года и служил там, а затем много раз мотался за Гиндукуш в командировки. А Чечня вообще казалась ещё дальше.

Казалась...

Но только дней через двадцать, когда закончился отпуск у старшего брата Виктора, он решился поведать обо мне матери. Собрал всех в комнате.

– Что это ты, сынок? – почувствовав недоброе, заволновалась мама.

– Мама, я уезжаю, отец один не справится с известием. Надо, чтобы знала и ты: наш Николай в плену в Чечне.

...Тяжелее всего родителям оказалось ездить на стадо доить корову. Женщины собирались около пастухов и ждали их приезда – в надежде услышать новости.

Новостей не было. Только падали в подойник вместе с тёплым сладким молоком горькие мамины слёзы.

А потом люди спрашивать перестали. Увидят опущенную голову отца – и торопятся пройти мимо, словно стыдясь своей беспомощности. Зато чистосердечные деревенские старушки засели за карты, гадания, распознавание снов. Никогда за меня не молилось сразу столько народа! И не проклинали так моих тюремщиков. Пусть им когда-либо аукнется это проклятие русских женщин – в своей жизни каждый должен получать причитающееся. У мужчин всегда считается подлостью воевать с теми, кто не причастен к твоей личной беде. И высокими словами о святой борьбе за свободу собственную жадность и наживу на торговле людьми не прикроешь...

В эти же дни игралась свадьба моего крестника Тимура. Он приехал с невестой в родительский дом, наполнил красным вином до краёв рюмку:

– Пусть стоит. Крёстный вернётся и выпьет.

Не выпил. Слишком долго меня не было, а лето стояло жаркое. Вино постепенно высыхало, в конце концов оставив на дне чёрно-красный сгусток. Родным казалось – запёкшейся крови. Спрятали рюмку с глаз. Только однажды мелькнула надежда, когда отцу приснился сон, будто ловит он в огороде молодого аистёнка с подбитым крылом и вносит на руках в дом.

Мама рассказывала этот сон всем встречным, и те радостно вытирали слёзы:

– Это сын. Значит, вернётся. Вернётся! К сентябрю вернётся, когда аисты полетят.

Птицы улетели, а сон всё не сбывался. А ей вспоминался уже не сон, а момент моего рождения. Весь день стояла солнечная погода, а только повезли рожать – разразилась сильнейшая гроза. Под гром и молнии по всему небу я и появился на свет.

– Да, видать, достанется этому парню в жизни, – проговорил врач, прикрывая меня от бьющих в окно сполохов.

Мама отмахнулась (креститься тогда ещё не могла), а когда вернулась в палату, вновь засияло солнце. Она и успокоилась, и забыла слова доктора, пока я не полетел в Афганистан...

А вернувшийся в Москву мой сын засел за учебники. Матери сказал прямо:

– Если папа не вернётся, одни мы учебу в коммерческой академии не вытянем. Надо перепоступать в государственный вуз.

Так порой мы заставляем своих детей мгновенно взрослеть. Месяца ему хватило, чтобы подготовиться и сдать на «отлично» вступительные экзамены на юрфак Высшей школы экономики. Больше о моём пленении в семье ни разу не говорилось, на это слово наложили табу. Только жена, когда оставалась одна, каталась по полу и выла...»

Так люди узнают о горе. Один из тысячи примеров, потому что только по официальным данным к концу первой чеченской войны в плену у боевиков оставалось ещё около тысячи четырёхсот солдат и офицеров, рабочих и служащих. И в каждом доме – своя боль, бессонные ночи...

Утро не принесло, да и не могло принести нам никаких известий. Ясным оставалось лишь то, что квартира – перевалочный пункт и боевики вновь ждут ночи для повторной попытки пробиться в горы. Что ждёт там? Кто ждёт?

Времени думать – целый день. Левая рука, за которую схвачен наручниками, занемела, а так ничего, жить можно. Пока. Вот только бесконечные разговоры охранников! Боевики меняются через каждые четыре часа, и каждый новый конвоир считает своим долгом выступить в роли проповедника и просветителя.

Во-первых, вознесение Дудаева.

– Наш Джорик – голова. Как он ответил Грачёву, когда тот сказал, будто ваши солдаты идут в бой умирать с улыбкой на устах? «Дадим России сто тысяч улыбочек».

Джорик молодец.

– Ты, что ль, говорят, журналист? А интервью у Жорика взять не хочешь? Думаете, он мёртв? Он ещё улыбнётся России через свои усики.

– Если выбирать – живой Дудаев или вечная война с Россией, мы выбираем вечную войну. Лишь бы Джохар остался вечно с нами.

Второй конёк, словно вместе с нами охраной передавались и темы разговоров, – это презрение к России, которая якобы посылает в Чечню воевать не только и не столько солдат, сколько уголовников.

– А ты что, не знал? Маленький? В тюрьмах отбирают тех, кому грозит смертная казнь, и предлагают: или воевать в Чечню, или под приговор. Едут сюда. И здесь зверствуют.

– Да зверствуют – это только начало. Их потом, в конце службы командиры посылают в такую мясорубку, из которой никто не выходит живым. Чтобы не отпускать на волю. А потом экскаватором вырывают яму и зарывают трупы.

Справка из Генерального штаба

Вооружённых сил России:

«Лица, находящиеся под следствием, а тем более осуждённые, не подпадают под приказ Министра обороны РФ о наборе военнослужащих на службу в Вооружённые силы на контрактной основе. Подобных фактов не было и быть не могло».

Из справки Генеральной прокуратуры РФ:

«Фактов, устанавливающих, что в Чечню направлялись люди, ожидающие смертного приговора или просто приговора суда, Генеральной прокуратурой РФ не выявлено».

Не менее расхожая версия – о защитниках Брестской крепости.

– Вы хоть знаете, кто её защищал? Почти стопроцентно чеченцы и ингуши. Да только мы и способны были на подобное. А вы, русские, уже потом, после выселения чеченцев, приписали всю славу себе, сделали всех защитников крепости русскими.

Из беседы с Валентиной Ивановной,

сотрудником Центрального музея Вооружённых сил:

«– Брестскую крепость защищали воины двадцати восьми национальностей. Ни в одной книге, ни в одном проспекте, ни разу во время экскурсий мы не разделяли их по процентам. Единственное, что могу отметить: подавляющее большинство, конечно, это русские. Были среди защитников крепости и кавказцы, но, повторяю, мы не делим их на проценты. Крепость защищал советский солдат».

Спорить в моём положении – себе дороже. Тем более все разговоры возвращаются в день сегодняшний.

– Я, что ли, хотел воевать? Что у меня, дел не было больше? Да я так катался по России, где только не был... Но прилетели ваши самолёты, разбомбили дом, убили мать – я

что, должен после всего улыбаться вам? Вот ты, полковник, если бы кто-то разбил твой дом и убил родных? Ты бы взял в руки оружие?

Не лукавлю – взял бы. Мне легко в этом признаваться, потому что к войне в Чечне лично я относился с самого начала резко отрицательно. Не друг, не брат и не сват я чеченцам, но в этом вопросе – больше сторонник, чем противник.

Но признаваться в этом, сидя на цепи, не хочется, чтобы не выглядело лизоблюдством: мол, запел соловьём, когда попался.

Не пою, больше молчу. Борис и Махмуд более эмоциональны, особенно когда разговор заходит о сталинских выселениях. Балкарцы тоже испили эту чашу, а Борис и родился в Казахстане. Я со своими случайными попутчиками практически незнаком, но их поведение вызывает уважение. Присутствие охраны пока не позволяет нам общаться, но одно то, что мы все в наручниках, сближает. Похоже, и ближайшее будущее у нас станет одинаковым, хотя моих родных сталинские чистки не коснулись и я выгляжу на фоне разговоров белой вороной.

Жутко неприятны и рассказы о «фильтрах», фильтрационных лагерях, в которых содержат арестованных чеченцев. Зверства, которым они якобы там подвергаются, не поддаются описанию. По словам охраны, даже попав на «фильтры» на один час, выходишь калеккой – отбивают почки, травят собаками, закапывают в землю по шею или заливают водой.

Этими разговорами жила вся Чечня, и именно это, по словам конвоиров, рождает их ответные действия. Каких-либо подтверждений или опровержений по «фильтрам» мне не удалось найти ни у самих чеченцев, ни после в Москве. Поэтому упоминаю об этих рассказах скорее для того, чтобы яснее становились мотивы отношений между чеченцами и русскими, где порой властвуют недоверие, обиды, слухи. Тем более одних не проклиная и вторых не превозношу в этой дурацкой войне: пишу, что видел, чувствовал и испытал. Любой другой пусть пишет свою повесть...

Чем ближе вечер, тем больше обоюдное напряжение. Наконец команда:

– Завязать глаза.

Махмуду на повязку досталась моя майка из сумки, Борису рубашка. Я закрываю себе глаза агитационным платком Международного Красного Креста, на котором в виде рисунков предписывается поведение солдат на войне: не стрелять в сторону машин и палаток с красным санитарным крестом, оказывать помощь раненым, даже если это противник, оберегать мирное население и – словно по иронии судьбы, для нас – гуманно относиться к пленным. Показать платок своим тюремщикам?

Хоть и чёрный, но юмор. Сам подумал, сам и закрутил.

Вновь долгий путь в машине через рытвины, подъёмы, спуски, царапающие крышу ветки – мы всё дальше и дальше от места захвата. А значит, когда нас примутся искать, бесполезным станет прочёсывание района пленения. Мы будем далеко. Да и будем ли? Кто заинтересовался нами в горах? Для чего?

Водитель включает магнитола. Запись сделана прекрасно, песни, конечно, о гордом чеченском народе, поднявшемся против трёхсотлетнего российского ига. О неминуемой победе над двуглавым орлом. О Москве, столице русских алкашей. О Будённовске, где Шамиль Басаев поставил Россию на колени.

Охрана знает слова, подпевает. Я же впервые слышу песни о чеченской войне.

Иногда в переходах московского метро видел, как облачённые в камуфляж десантники и «краповые береты» собирали деньги для семей погибших товарищей под старые, переделанные с «афганских», песни. Россия про чеченскую войну песен не сложила и не запела. Ещё не запела или уже не запоёт? Тогда кому всё же она была нужна? Неужели нельзя было добиться результата по-иному? Вымели из политики, контрразведки и армии профессионалов?

– Приехали.

Останавливаемся и долго ждём на каком-то взгорке. Дверцы машины распахнуты, ветер продувает её и нас насквозь, унося с собой в горы и ночь песенные проклятия генералу Ермолову, покорившему-таки Кавказ в своё время.

Из этой ночи, с этих гор, из незаконченной, как оказалось, истории и появляются за нами призраки той, далёкой кавказской войны. Но вполне реально, по одному они выдёргивают нас на землю. Не забывают ударить по почкам. Холодные пальцы ощупывают лицо, но это затем, чтобы проверить повязки и заткнуть нам уши ватными тампонами.

Звуки, особенно дальние, гаснут. К моим наручникам привязывают верёвку, дёргают за неё, заставляя идти. Так ведут верблюдов по пустыне. И в каком-то из фильмов подобным образом гнали людей в рабство в давние времена. Какое сегодня число? Какой год? Век? В каком фильме я снимаюсь?

А идём быстро – полем, лесом, буераками. Оступаемся, ловим лицами ветки и стволы деревьев, выворачиваем ноги на колдобинах, падаем. Кажется, я привязан к Махмуду – именно на его шлёпанцы наступаю раз за разом. Очень скоро становимся мокрыми по пояс от росы и вчерашних луж, а спину и лицо покрывает пот. Нет, нас не ведут – нас гонят. И не в киношное рабство. И никто никогда нас уже не найдёт. Мы даже не иголки в стоге сена. Мы – песчинки, которые всё глубже и глубже засасывает воронка...

И вот наконец подвал с тусклой лампочкой, наброшенные на плечи простреленные одеяла и короткое забытьё...

5

Даже меньше, чем короткое.

– Повязки.

Их уже далеко не прячем, носим на шее. В очередной машине перед глазами вспыхивает огонёк зажигалки, но ума и выдержки хватило не отреагировать на него. На уловку попадается Борис. Скрипит от резкого разворота кожаная куртка охранника, и банкир стонет от неожиданного удара.

– Понял, за что? – интересуются у него.

– Да.

Значит, повёл головой за светлячком. А мы ничего не должны ни видеть, ни слышать. Сам пишу детективные романы и прекрасно знаю: человека подчас убирают только за то, что он оказывается невольным свидетелем. Если хотим самим себе помочь выбраться, нужно исключить подобные перспективы. Только бы выбраться. Выбраться!

Что свершится в этом случае, какие горы переверну и сколько океанов переплыву,

про то не загадывается. Наверное, просто мало надежд, но ведь как хочется...

Пока же после долгой езды по лесным дорогам помогают выбраться из машины.

– Траншея, – предупредили уже после того, как проваливаюсь вниз.

Локтями нащупываю стены, но новый удар прикладом в спину заставляет идти по извилистому ходу.

– Ступени.

В нос проникает запах подzemелья и сырости. Тут не торопят, дают время и возможность самому нащупать ступени и спуститься вниз. Оттуда хватают за полу пиджака, отводят в сторону и сдёргивают повязку.

Полумрак землянки. Стою в узком проходе между стеной и нарами. Таким же образом подводят Бориса и Махмуда. Из темноты на нас с любопытством смотрят боевики. Неужели оставят жить среди них, здесь?

– Давайте вниз.

Ещё вниз?

Подталкивают в самый угол землянки, где под нарами открывается яма-провал. Ребята, идущие следом, невольно сталкивают меня вниз и сами сыплются следом. Глубина – по плечи. Значит, жить придётся не на нарах, а здесь, стоя? Успеваю заметить под нарами собаку, которая смотрит на нас печальными, полными грусти глазами: благодарите Бога, что ещё живы, а вот что ждёт вас потом? Снимают наручники.

– На колени. Дальше.

Насчёт нашего православного Бога не знаю, а про Аллаха Махмуд говорил: если он дает, то двумя руками. Яма – это только начало?

Да, из неё в сторону прорыта узкая нора. Ползти можно только на четвереньках, и уже в сплошную темноту и стылость. Вот теперь – всё. Всё! Какие, к чёрту, одеяла-крылья-надежды. Ангелы, которые могли бы прикрыть нас своим крылом, в подземельях не летают.

Сзади жгут спички, но это чтобы мы могли рассмотреть дверь-решётку посреди крысиной норы. За ней – очередная яма. Свет от новой спички боязливо подрагивает на земляных стенах, освещает на миг подземный склеп. Ширина – поместиться троим, длина – по росту, высота – стоять на коленях. В углу – два матраца. Тороплюсь усесться на один при угасающем, покидающем нас свете. Замечаю лишь, что изо рта идёт пар. Значит, общая глубина – метров пять-шесть.

По одному прыгивают мои несчастные попутчики. В темноте притягиваю их к себе на сиденье, и мы замираем, не в силах перебороть впечатления от увиденного и доставшегося нам. Вот теперь – плен. Клетка захлопнулась полностью. А мы отказывались в лесополосе есть колбасу и гребовали грязными, но простынями в полузатопленной комнате. На кроватях!

Из шока всех троих выводит чесотка. Борису, оказывается, дали коробок спичек, и он торопливо зажигает одну. В ужасе подхватываемся: матрац кишит червями, личинками, жуками-короедами. Они уже залезли нам под брючины, и мы, торопясь и брезгуя, согнувшись в три погибели, давим их на теле, вытряхивая остатки на земляной пол.

Сверху появляется свет – нам просовывают керосиновую лампу без стекла. Фитиль нещадно коптит, но всё становится ерундой по сравнению с тем, что темнота отступила за пределы могилы. Но как спастись от ползущего и шевелящегося? Однажды в Афганистане

в одном полуразрушенном доме нас подобным образом заедали клопы. Но тогда у каждого имелись бинты, и мы перехватывали ими запястья рук, шею, ноги, оберегая тело от плоских коричневых «броненосцев».

Смотрю, что осталось у меня сейчас. Галстук, заколка, часы, авторучка и старое, не найденное в боковом кармане удостоверение главного редактора журнала «Советский воин». Единственная зацепка, по которой могут определить труп, если что...

– Всё. Давайте устраиваться, – беру на себя роль старшего.

К двум предыдущим установкам – не паниковать и не раздражать охрану – мысленно добавляю третью – не заболеть. Если даже подземных тварей окажется больше самого матраца, я стану сидеть и спать на них. Лишь бы было теплее. Вспоминаю добрым словом Боксёра за подарок: в носки-гольфы заправляю брючины. Застёгиваю верхнюю пуговицу рубашки. Ребята повторяют процедуру.

Второй матрац менее истлевший, но на троих слишком мал. Свернув валиком убежище короедов, подтягиваю его к стене, будет вместо подушек. В углу находим влажные, истрёпанные, грязные, но – одеяла. Каждому по штуке! Не-ет, будем выживать. Будем. До последней секунды.

Нас не забывают. Кто-то спрыгивает в яму, кричит через решётку:

– Холодно?

Напарники молчат, хотя я надеялся, что они, как мусульмане и соседи, будут активнее и ближе к нашим тюремщикам. Тороплюсь ответить сам:

– Да. Очень.

На самом деле ещё не холодно, из всех земных человеческих чувств – только угнетение склепом. Но сидеть-то здесь наверняка не один час...

– Что, полковник, изнежился в своей Москве?

Плевать, какое мнение родится обо мне. Буду просить всё, что можно.

И победил!

– Держите.

В яму летит солдатское «хэбэ». Махмуд покрупнее нас с Борисом, ему отыскиваем самый большой размер. А я замираю, когда на глаза попадает белое клеймо с датой выпуска: 1973 год. Год, когда я принимал присягу на верность Родине – Советскому Союзу. «Если же я нарушу... то пусть меня покарает суровая кара советского народа»...

Карают? Меня – карают? Но за что? В октябре 93-го, после танкового обстрела Белого дома, нас, главных редакторов военных газет и журналов, вызвали в Генеральный штаб. Друзья из Управления информации успели шепнуть: станут давить на то, чтобы мы напечатали материалы в поддержку министра обороны Павла Грачёва и его приказа о стрельбе из танков.

Грачёва я знал, когда тот ещё генерал-майором командовал дивизией в Афганистане. Я же, специальный корреспондент «Советского воина» и всего лишь майор, летал в Кабул к его десантникам для подготовки материалов. Время пролетело, Паша (он и в Афгане звался Пашей, до отчества так и не дослужился, даже будучи министром обороны) стал министром, я – главным редактором журнала. Наши пути ещё раз пересеклись, когда он в 1992 году приказал поменять название «Советскому воину». Насколько можно тянули волюнку, потом убеждали, что есть пример «Советской России», «Комсомольской правды», «Советского спорта», наконец. А слово «советский» – это от Верховного Совета,

который осуществляет нашу законодательную власть, и никаких политических пристрастий и подоплёк в названии журнала нет. Кроме истории.

– Вот если он в российской армии найдёт хотя бы одного советского солдата, тогда разрешу оставить это название. Или если журнал начнет финансировать Верховный Совет, а не Министерство обороны, – передали мне его слова.

После этого в редакцию стали возвращать проекты приказов, представлений на воинские звания сотрудникам, закончились деньги на выпуск. Понимал, что победы за мной не будет в любом случае, и пришлось объявить конкурс среди журналистов на новое название. Из девяноста семи предложений больше всех баллов получило «Честь имею». И литературно, и по-военному. Таня Саськова, редактор по отделу литературы, правда, сказала:

– Имя – это судьба. Вам его нести, Николай Фёдорович. Ох, и ответственно будет.

А из белого здания на Арбатской площади передают недовольство министра:

– Они что там, в журнале, имеют честь, а я, выходит, нет?

Мне ли, подполковнику, было судить министра. Тем более, до стрельбы по парламенту дело ещё не дошло. Я, как офицер, просто оставлял за собой право иметь собственное мнение.

Из приказа

по редакции журнала «Советский воин» № 05

от 13 января 1993 года г. Москва:

«30 декабря 1992 года в Министерстве печати и информации Российской Федерации нашим учредителем – Министерством обороны РФ состоялась перерегистрация журнала “Советский воин” под новым названием “Честь имею”.

Лично я, как главный редактор, был против любого нового наименования, и особенно в наше заполитизированное время. Однако сложившаяся ситуация продиктовала иное решение. И сегодня я, как ваш руководитель и начальник, подчёркиваю, что смена названия – это не политический акт, а вынужденное подчинение ряду обстоятельств. Это тем более не означает смену ориентиров и позиции журнала, направленных на воспитание любви к Отечеству, защиту его интересов, на дружбу между народами, уважение традиций, пропаганду доблести и славы, заботу о ветеранах и вооружённых защитниках Родины. Отдаём дань уважения и преклоняем свои головы перед славной историей журнала и всеми поколениями военных журналистов, работавшими под знаменем “Советского воина”.

Вместе с тем не снимаю с себя ответственности за утрату привычного для многих поколений советских людей названия журнала, и всё, что может быть оценено как негативное, я беру на себя, освобождая каждого подчинённого от моральной ответственности в свершившемся. Верю, что и с новым названием журнал станет таким же интересным и необходимым людям...

...Приказ размножить для каждого сотрудника редакции, кому предназначено было историей последними носить гордое и высокое звание сотрудника “Советского воина”».

Вот такая маленькая, мало кому известная страничка из новейшей истории о том, как

переименовывались журналы. Пусть останется как свидетельство времени.

И вот – новый пик отношений министра и журнала: поддержать публикациями расстрел парламента и, таким образом, самого Грачёва. Нам, с таким названием! Можно было, конечно, наобещать хренову тучу, как говорит нынешняя молодёжь, и в то же время ничего не делать, но... но надо же когда-то уважать и себя. Свои погоны. Убеждения. Говорила Татьяна Саськова: «Имя — это судьба. Вам его нести...»

Вместо того чтобы идти на совещание в Генштаб, собрал редакцию и зачитал свой рапорт: «Прошу освободить меня от должности главного редактора журнала».

Сняли. Мгновенно. И не только с должности, но и уволили из армии. «За низкие моральные качества».

Не знаю, за что и с какой формулировкой снят ныне с должности сам Грачёв, но иного ему судьба не оставляла – только падение вниз. Правда, он по-прежнему в шикарной квартире на Рублёвке, а я – в пятиметровой яме в Чечне. И вот о превратностях судьбы мне напомнило клеймо на солдатской форме да часы «Генеральские», подаренные редакцией журнала на прощание. С единственной, но очень дорогой для меня гравировкой: «Честь имею». Потом в архивах отыскал ещё один свой приказ...

Из приказа

по редакции журнала «Честь имею» №210 от 15 ноября 1993 года г. Москва:

«С 25 июня 1992 года по сегодняшний день имел счастье возглавлять коллектив редакции журнала “Советский воин” – “Честь имею”.

Неизбежные для любого главного редактора трудности и сложности многократно перекрывались гордостью за принадлежность к лучшему журналу в Вооружённых силах. Высшим своим долгом считал проводить в журнале линию патриотизма, любви к Отечеству, внимания к людям в погонах. Во главу угла ставил честь и достоинство человека...

По стечению обстоятельств вынужден прервать свое руководство журналом. Как офицер и человек считаю свой поступок единственно верным. Допускаю некоторую его уязвимость как руководителя, но за всё доброе, если что сделал для редакции, прошу простить и понять.

Прощаясь, благодарю всех без исключения за совместную службу. Желая творческого беспокойства и счастья в ваших домах. Честь имею».

Прощаясь, благодарил всех. Сейчас снова благодарю всех, прощаясь. Жизнь оказалась зависимой от того, на каком месте стоит это слово – «прощаясь»...

– Тихо, – просит неожиданно Борис, хотя мы, погружённые в свои воспоминания, облачаемся в форму.

Ничего. Только жужжит муха. Монотонно и нудно.

– Трупная, – вдруг почему-то определяет Борис. – Они здесь хранят трупы.

Даже если бы они лежали здесь до сих пор – что мы могли изменить? Пожимаем плечами: мол, их ведь и в самом деле нужно где-то хранить, а здесь холодно и темно...

Это уже из букваря плена, который пишется нами на ходу: реагировать лишь на то,

что можем изменить. Об этом – крупным шрифтом и на первой странице. И ни к чему страшные сказки перед сном. Мало ли кому что привидится или представится. Лучше лечь спать. И побыстрее уснуть. Мы ведь практически двое суток не смыкали глаз.

С головой, словно в кокон или саван, закатываемся в одеяла – теплее, и меньше щелей для гадости и нечисти. С безнадежным омерзением опускаем головы на шевелящийся от жуков валик-матрац: скребутся отчётливо и явно. Точно как в детстве, когда прикладывали к уху наполнённый майскими жуками спичечный коробок. А лучше всего лечь на спину, тогда меньше звуков.

Однако через несколько минут раз и навсегда запрещаю себе ложиться на спину и живот: стылость не просто входит в тело, а сама высасывает тепло изнутри. Не болеть. Ни в коем случае не болеть, медсестричек не приведут. Нужно искать такую позу, когда меньше всего соприкасаешься с землёй. Кручусь, тревожа ребят. Но нахожу: плечо, бедро, колено. Туфли не снимать. Под голову не ладонь, как в детской присказке, что мягче всего на свете, а предплечье. Для этого приходится забрасывать вверх всю руку, она быстро немеет, но зато почти не касаешься земли туловищем. И ближе, теснее к ребятам.

Как зарок, как надежду на будущее говорю себе: если когда-нибудь выберусь из этих ям, поднимусь на самую высокую вершину. А ещё лучше прыгну на эту самую вершину – пусть это будет Северный полюс – с парашютом.

Только бы выбраться...

6

Просыпаемся от глухих ударов: рядом в землю методично вбивают бетонные сваи. Но подобного не может быть, здесь не стройка! Значит, остаётся артобстрел. Как легко, всего лишь методом исключения, на войне можно вычислить звуки!

– Стреляют? – скорее надеясь на обратное, уточняет вслух Махмуд. Лампа во время сна погасла, но в глазах почему-то постоянно вспыхивают блики. Они спят подобно электросварке, и, прячась от «зайчиков», в темноте же закрываю глаза.

– Я покурю, – просит разрешения Борис.

Удивительный человек. По-моему, он бесит боевиков даже больше, чем я своим полковничьим званием. Полтора года возил в Чечню деньги на зарплату бюджетникам, ни разу не потеряв ни одной копейки. И это в то время, когда сами чеченцы вывозили крутить свои капиталы в московские банки. Когда пропадали под завязку гружённые новенькими банкнотами КамАЗы – причём бесследно и безнаказанно. Борис или альтруист, или чего-то не понимает в жизни «новых русских». Боевики и не верят, что он не нагрёб себе несколько сотен миллионов, и каждый из охранников считал своим долгом пожалеть:

– Как это мы тебя раньше не взяли?! Отстёгивал бы нам с каждой поездки по сотне миллионов, сейчас не сидел бы здесь.

– Но как я мог отстёгивать, если деньги шли на зарплату вам же, чеченцам!

– Не тем чеченцам. Настоящие нохчи воюют. И деньги нужны в первую очередь нам: война – занятие дорогое.

– Но деньги приятно зарабатывать, а не получать просто так.

– Ты что, идиот? Сидеть у денег и не брать их?

– На всю жизнь не наберёшь. А до уровня больших сумм нужно и вырасти. С деньгами нужно уметь работать, пускать их в новый оборот. Это целая наука – распоряжаться крупными суммами.

– Слушай, замолчи. Был бы умный, сидел бы в ресторане с девочками, а не с канистрой под землёй. Ты ещё нас будешь учить, что делать с деньгами.

На данный момент нас учит собственная артиллерия. Вот здесь уж наука совсем не сложная: если снаряд угодит в блиндаж и засыплет лаз, нам с такой глубины не выбраться вовек. А «сваи» вколачиваются, не переставая, совсем рядом. Трёхсменка у них там, что ли, как на строительстве храма Христа Спасителя? Значит, артиллеристы попались хорошие, чёрт бы их побрал за меткую стрельбу. Накрыли, взяли в «вилку».

На решётке гремит цепь. Как спрыгивали в яму, мы не слышали, и это настораживает: так могут и подслушивать. Поневоле станешь держать язык за зубами.

– Зажгите лампу. И поставьте вниз.

Смысл подобных указаний мы поймём позже, когда они станут повторяться из раза в раз: охрана должна нас видеть и держать под наблюдением, чтобы исключить неожиданное нападение из темноты. И свет обязан слепить нас, а не их.

– Выходи.

Выходи – это когда идёшь во весь рост. А ежели ползёшь на четвереньках? Откуда во мне этот чёрный юмор?

Выпрямиться можно лишь в яме. Она уже пуста, Боксёр сидит на корточках вверху, у нар. У его ног – всё та же собака, подрагивающая при близких разрывах.

– Слышите? Стреляют! Так что у вас, короче, самое безопасное место в лагере. Ни один снаряд не достанет.

Ах, какое благородство. Последнюю рубаху сняли. Лично я готов стать таким же заботливым, лишь бы выползти из склепа. Даже под бомбежку...

– Но если федералы сейчас пойдут в атаку, мы, короче, вынуждены будем вас расстрелять. Могу гарантировать только одно: если будет время, закопаем в землю, чтобы шакалы не растащили кости по лесу. Ну, и родным сообщим, чтобы не считали без вести пропавшими и зря не искали.

– Спасибо.

Кажется, я поблагодарил Боксёра искренне. И тот не менее искренне ответил:

– Пожалуйста. А теперь – обратно. Жратвы пока нет, костры не можем развести – вертолёты заколебали. Сигареты есть?

– Нет.

Протягивает Борису, единственному из нас курящему, начатую пачку LM. Пока тот курит, молчим: слишком большое расточительство в плену – делать несколько дел сразу. Покурит, потом поговорим, потом зажжём лампу, потом перетрусим одеяла, потом перезастегнём все пуговицы – глядишь, минут двадцать пройдёт. Нет, сначала каждый попробует угадать время, потом это время сверим, высчитаем, кто на сколько ошибся, – ещё минуты две-три долой. А сколько их впереди, этих минут, часов, суток?

Нет. Лучше думать по-иному. Надо представлять не будущие минуты, а радоваться прошедшему времени. Чем больше сидим, тем меньше осталось. Красота. Свобода всё ближе и ближе. Можно сказать, совсем рядом.

Рядом слышны пулемётные очереди. Атака? Подхватываемся, хотя прекрасно

осознаём свое бессилие.

– Полковник, на выход, – кричат сверху.

Вот и всё. А я было размахнулся на целых двадцать минут – одеяла перетрусить, пуговицы пересчитать. И кому бы сказать, что ерунда это, будто можно смотреть смерти в глаза или слышать за спиной её дыхание. Смерть бестелесна, она входит в сознание, и к ней привыкаешь, как к печальной неизбежности. Единственное, чему удивляюсь, – своему спокойствию. Могу даже представить, как станут проходить по мне поминки, кто и даже на каком месте будет сидеть за столом...

Хлопаю по плечам ребят. Они молчат, их очередь – следующая. Ползу к свету. Это хорошо, что расстреляют на свету. В самом деле, ничего страшного. Поставят к дереву, отойдут на несколько шагов и вскинут автомат. Только держаться, не упасть на колени и не молить о пощаде. Хотя жалко, безумно жалко, что всё так быстро закончилось в жизни. Надюшка станет говорить в школе: «У меня папа погиб в Чечне...» Сашке придётся бросить коммерческий институт, без меня, одна семья сумму не потянет. А у жены нет чёрного платка. Принесут, наверное, соседи...

А вот мой платок всегда при мне. В яме надеваю его на глаза. За руки вытягивают в землянку, выводят в траншею. Первое, что отмечаю, – запах летнего леса. Никакой сырости. Перед расстрелом, если не свяжут руки, сниму повязку. Какое оно, сегодняшнее небо? Примет ли мою душу? Господи, прости, что не верил в Тебя...

Останавливают на одном из траншейных изгибов. Приказывают сесть на дно и снять повязку. Про небо уже забыто, взгляд упирается в обрубленные корневища деревьев, помешавшие окопам пройти в этом месте и потому безжалостно пересеченные лопатами.

– По сторонам не смотреть, – голос Боксёра сверху.

Я не то что по сторонам, а и на него не смотрю. Мне всё равно. Хотя что кривить душой? Просто знаю, а потому обманываю самого себя: если охранник без маски, значит, расстрел. Если в ней... Лучше побыть в неведении, не обрубить сразу надежду. Она как мяч – то вверх, то вниз. К худшему уже готов, а если надежда мелькнёт опять, но всего на секунду, и мяч на твоих глазах начнёт падать вниз – страшнее. Нервы всё-таки не железные, хотя в руках держать себя можно. Перерубленные лопатой корневища в данном случае важнее неба...

– Короче, то, что ты из ФСБ, у меня никакого сомнения, – начинает сверху старую песню охранник. Далась им комитетчики, наверное, достали. – Ну, а чтобы ты всё же разговорился, я сейчас покажу такое, от чего, может быть, и крыша поедет. Отрубленные головы давно видел?

Поднимаю глаза. Боксёр в маске! Мяч, не коснувшись земли, снова устремляется вверх, к надежде.

– Так хочешь посмотреть, что мы делаем с пойманными контрразведчиками?

– Если честно – нет.

– А я думаю, что надо.

Зря подпрыгивал этот дурацкий мяч, тем более, я не просил об этом. В воображении возникает камера пыток, но не современная, с людьми в белых халатах и шприцами, электрическим стулом и тому подобным. Сознание рисует средневековые – цепи, костёр, раскалённое железо. Залитый кровью топчан, где рубят головы...

Не хочу ничего видеть. Подобное, даже если останусь вдруг жив, не уйдёт из памяти

никогда. И если в самом деле свихнусь... Нет и нет, лучше пусть стреляют сразу. Нужно побежать, и тогда откроют огонь вслед. Аوصь не промахнутся. Лучше погибнуть.

Пока даже не дают подняться с корточек. Ноги затекли, прислоняюсь к стене траншеи. Боксёр сбрасывает на колени кусок картона из-под сигаретной упаковки.

– Ладно, пока пиши. Автобиографию. Адреса родственников. Короче, если при проверке окажется, что соврал хоть в одном слове, пеняй на себя. И как сам думаешь, тебя станут искать?

– Станут.

– Да кому ты нужен? Если Россия своих погибших солдат зарывает в ямы экскаватором, то тебя одного и не вспомнят.

Догадываюсь: проверяет, стоит ли возиться со мной. Если в самом деле начнут искать, то можно сорвать куш. А значит, придержат хотя бы до первого торга. Если же никому не нужен, то тем паче не нужен им. Уж чего-чего, а одной пули не пожалеют. Или взмаха топора, если так нравится отрубать головы.

– Всё-таки меня будут искать! – это и убеждение, и теперь уже игра в поддавки. Подсказка.

– Машина есть?

– Нет.

– Дача?

– Тоже нет.

– Что это вы, как только попадаетесь к нам в плен, сразу становитесь бедными? – не верит Боксёр.

– А богатые сюда не ездят.

– Короче, пиши.

Биографию мою можно уточнить у любого военного журналиста в Москве, за это не боюсь. Если в самом деле начнут проверку, миф о моей контрразведывательной миссии наконец-то отпадёт. А вот с адресами братьев и сестры – заминка. У меня с цифрами всегда напряжёнка, я и после суворовского училища пошёл на факультет журналистики Львовского политехнического училища скорее не по призванию, а потому, что это было единственное военное училище в Советском Союзе, где напроць, даже на первом курсе, отсутствовали точные науки. Да и не дам я боевикам возможности дотянуться до родных.

С чистой совестью пишу первые попавшиеся цифры. Хотя что им родственники! В паспорте записан мой домашний московский адрес, и этого вполне достаточно, чтобы диктовать свои условия. И чтобы я их принял.

В артобстреле – перерыв. Какой-нибудь Мальчиш-Плохиш из федералов не успел подвезти снаряды, и неожиданно ловлю себя на мысли, что именно он, проклятый буржуинский выкормыш, становится для меня героем. Не подвезут боеприпасы – есть шанс остаться в живых. Оказывается, пленники смотрят на мир с обратной стороны...

Боксёр забирает исписанный листок, кивает на повязку. Знать бы, что следующий раз на поверхности земли я её сниму только через два с половиной месяца, уже осенью, тогда не забыл бы посмотреть, какое оно, сегодняшнее небо.

– Эти ямы мы держим для своих, чеченцев, – на прощание говорит Боксёр. – Будем здесь их перевоспитывать после войны.

Верят в победу.

– Живой, – радостно встречают ребята, когда вползаю обратно в нору. – А мы уж думали...

О чём думали, расшифровывать не надо. К тому же звучит новая команда:

– Борис, на выход.

Его держат чуть дольше, чем меня. И только когда отыскался наконец пропавший с боеприпасами Мальчиш-Плохиш и артиллерия заработала легко и размашисто, Борис медленно вползает на своё место в братскую могилу. Ждёт, когда закроют решётку, и сообщает единственную новость:

– За меня затребовали два миллиарда рублей. Заставили писать письмо родным.

Впервые закуривает без разрешения. Огонек сигареты ярок, ему не дают покрыться задумчивым пеплом, раскуривают вновь и вновь.

– А хоть четыре, – банкир нервно усмехается. – Таких денег не то что у родственников – во всей Кабардино-Балкарии нет...

Скорее всего, это же он говорил и наверху, потому что продолжил спор:

– Говорят, пусть родные продают квартиры. Лучше я здесь останусь навек.

Это – новая и уже окончательная обречённость. Новость переношу на себя, примеряю, как новую одежду: ладно ли будет? После проверки назначат цену и за меня. Вряд ли она окажется ниже. Или будут держать до конца войны, на случай, вдруг кто-то из отряда попадёт в плен и тогда можно будет обменять. А самое страшное, если продадут родственникам какого-нибудь уголовника или насильника, получившего лет пятнадцать тюрьмы. Тот начнёт, спекулируя мной, торговаться с Генеральной прокуратурой, которая, конечно, на подобное освобождение не пойдёт.

Но всё равно чувствуется, что Борис что-то недоговаривает. Ждём, когда огонёк окурка воткнётся в стену. Нерассказанная новость тяготит и банкира, да он и слишком честен, чтобы умалчивать что-либо:

– Предложили, чтобы я расстрелял тебя, Николай. – И торопливо, словно я мог усомниться в его порядочности, добавил: – Я отказался.

После услышанного говорить совершенно не о чем. Вроде надо поблагодарить Бориса, что тот не сделал шаг к своему личному спасению, но вместо слов протягиваю руку и сжимаю в темноте ему локоть. И что, пора перекреститься? Кстати, а как крестятся: справа налево или наоборот? Дожили. Хотя, если мы православные, значит, всё должно идти с правой стороны.

Стыдно, но пальцы сами тянутся ко лбу. Хорошо, что темнота и ребята не видят моего движения. Первый крест в моей жизни. Неужели для этого надо стать на грань жизни и смерти? Да и даст ли это что-нибудь? Где-то слышал, что человек не просто крестится, он как бы заключает себя сверху вниз и справа налево в оболочку, оберегающую от сглаза. Но утром войска в любом случае пойдут в атаку, и здесь уже ни крест, ни самый надёжный «волчок» не помогут.

Оправдывая себя за перекрестие (зачем, перед кем?), вспоминаю свою родословную. В давние времена жила на Брянщине, на самой границе с Украиной, семья Охрименковых. Главу семейства, как и положено, забрали на 25 лет в армию, а у молодички вдруг через два года родился мальчик. От кого, чей – про то молчала. И лишь когда уже ему, выросшему, пристало время надевать погоны, местный священник Иванов вдруг сказал:

– Отечеству солдаты должны служить под своими фамилиями. Иванов это.

Вот и думай, откуда мой род – от священнослужителей или солдат. Впрочем, сейчас твоя фамилия для тебя же никакой роли не играет...

Глубокой ночью принесли тарелку с дымящейся паром кукурузной кашей. Поковырялись в ней только потому, чтобы охрана не швырнула еду обратно: гребуете, мол. Лучше – спать. Попытаться спать и приблизить развязку, ибо её ожидание ещё страшнее.

Снова – в одеяловый кокон, и снова – в свои мысли. А они об одном. Артиллерия усиливает огонь, значит, атака утром, с первыми лучами солнца. Если не засыплет собственным снарядами, то до утра протянем. Только зачем? Не всё ли равно, где помирать: под землёй или под кроной деревьев? Наверное, у деревьев, на свету, лучше. Хватит ли мужества сорвать повязку с глаз? Или пусть остаётся? Станут ли разговаривать перед э т и м? И кто здесь главный? Неужели Боксёр? А что, если попросить у него отсрочку расстрела месяца на два-три?

Мысль настолько оригинальна, что раздвигаю плечами саван. А что? Пусть назначат сами место и время, куда мне прийти потом для исполнения приговора. Я бы приготовил всё дома, раздал долги, хотя никому ни копейки не должен, – и пришёл бы. Неужели им не всё равно, когда меня пришлѣпнуть? Я ни слова ни полслова никому бы не сказал о предстоящей смерти. Может, предупредил бы лишь сына, чтобы он через час-другой после выстрела вызвал «скорую» увезти меня в морг. Вот и всё. Даже было бы благородно с их стороны, могли бы потом где угодно хвалиться этим.

А отсрочка – это было бы здорово. Я бы за три месяца успел сделать всё, что намечал на всю жизнь. Или почти всё. По крайней мере, главное. Наверняка с приближением дня расстрела мне становилось бы безумно тяжело, меня бы не несли туда ноги, но... но я бы пришёл всё равно. Здесь, под землёй, клянусь в этом. А если бы дали ещё самому выбрать место гибели, назвал бы парк около кинотеатра «Солнцево». Часов на одиннадцать вечера. Мой сосед по лестничной площадке – полковник Григорий Дегтярёв, командир салютного полка, и когда получил квартиру в нашем районе, предложил руководству района сделать дополнительную салютную площадку именно там. Получится, что выстрел киллера прозвучит салютом моей жизни.

Красиво, чёрт возьми, если бы это было придумано мной для очередного детективного романа, а не для себя лично. Только когда слеза попадает в ухо, понимаю, что плачу. Сознание смирилось с предстоящей смертью, а сердце подспудно, исподволь берedit душу, сопротивляется. Придумывает отсрочки, за которые тут же цепляется мозг и начинает выстраивать хоть какое-то продолжение жизни.

Но новости от Бориса оказались ещё не все. Он вдруг тихо произносит:

– Нас ищут.

Резко приподнимаюсь. Не сомневался в подобном ни минуты, но услышать это на пятиметровой глубине, в могильной темноте, когда внутренне соглашаешься на смерть... Не насторожила даже та интонация, с которой Борис сообщает о событии.

– Кто? – первым успевает спросить Махмуд.

– Сказали, что приезжали старейшины и муллы из Нальчика.

Я напрягаюсь. Если ищут только Бориса и Махмуда, значит, мне скоро оставаться одному. Одному в этом могильном склепе и темноте. Теперь страх один – не пропустить момент, когда начну сходить с ума! Бежать, при первой же возможности бежать. Но так,

чтобы убили. Потому что, если убегу, злобу выместят на семье. Как хорошо было кавказским пленникам Толстого – отвечай только за себя. Почему я здесь, в Чечне? Почему не уподобился другим, выбивающим себе командировки за границу?

– И что? – торопит, не понимая моего состояния, Махмуд.

– Им сказали, что, если за нами спустится сам Аллах, но спустится без денег, они расстреляют и Аллаха, не то что мулл и старейшин. Приказали больше не появляться.

Сжимаю голову руками. Одиночество не наступит, но и отсрочки от расстрела не произойдёт тем более. Нас убьют троих, вместе. Мельчайшая, сидевшая где-то в подсознании надежда на благородство чеченцев показывает свою изначальную суть и оказывается блефом: им нужны деньги, одни деньги и ничего кроме денег. И война, которая идёт наверху, – тоже, по большому счёту, из-за денег. Из-за возможности – или невозможности – ими обладать и распоряжаться. И моя судьба и жизнь заканчиваются не сейчас под землёй. Всё произошло тогда, в октябре 1993-го, когда написал приказ о своем уходе с должности главного редактора журнала. Я верил в благородство политики, а она первой предавала как раз тех, кто надеялся на её искренность. Депутаты из расстрелянного парламента тогда пошли на новые выборы и практически все заняли новые места в Государственной Думе, а я, изгнанный из армии, спарывал погоны и всё равно пил водку за свою, ту армию, в которой пятнадцатилетним суворовцем был старшиной роты. Как славно можно было сидеть с двумя «Волгами» и генштабовскими телефонами. В центре Москвы, а не здесь. Стоило только согласиться опубликовать материал...

Но слишком красивым было название у моего журнала – «Честь имею». Слишком ко многому обязывающим. И предки завещали: Отечеству служить под своей фамилией. Дослужился...

Болят глаза. Сколько времени человек может находиться в темноте? Если станем терять зрение, надо сейчас учиться быть слепым. Заранее. Они, когда ходят, некрасиво отбрасывают голову назад. Надо помнить об этом и хотя бы не повторять их! Значит, рука вытягивается вперёд не полностью, чуть согнуть в локте. Пальцы не растопыривать. Двигаться чуть боком...

Идиот! О чем думаю! Чему учусь!

И вдруг одёргиваю самого себя: а ведь всё-таки думаю о жизни! Учусь хоть и калекой, но – быть. И если прислушаться к себе повнимательнее, то больше всё же болят не глаза, а давит грудь. Там, где душа и сердце...

Ребята тоже ворочаются, дышат тихо и сдержанно. Значит, тоже не спят. Уснёшь тут...

А ведь уснули. Когда часами лежишь без движения в полной темноте – заснёшь и перед расстрелом.

Но забытьё вышло недолгим. Загремела цепь, и, будто мы только и ждали команды, прозвучало:

– Повязки на голову. Наверх. Живее.

Тащат по траншее, выдёргивают наверх, заталкивают в машину. Так начинается

складываться, что в плену наезжусь больше, чем за всю предыдущую жизнь. Ощупываю сидящего рядом. Это вообще-то роли не играет, Борис или Махмуд втиснут вслед за мной, просто хочется ощутить, что ты не один.

Получаю прикладом автомата по руке: соседом оказывается охранник. А где ребята? Нас разъединили?

Перед лицом – опять шпионские штучки – огонёк зажигалки. Каменею, не дергаюсь. Зато вокруг раздаются разрывы снарядов и стрельба. На часы посмотреть не успел, но где-то около трёх ночи. Атака возможна часа через два, когда рассветёт. Значит, выходим из окружения?

– Короче, будем прорываться из окружения, – подтверждает догадку Боксёр. Голос чуть с хрипотцой, запоминающийся. – Пригнитесь, иначе свои прихлопнут.

На душе радостно. Ясное дело, не оттого, что могут убить и закончатся наконец неизвестность и мучения, а что ребята тоже рядом. По гулу мотора и сиденью марку машины определить трудно, я не знаю, где их разместили, но ведь говорят всем троим! А если нас хотят уберечь даже от случайной пули, то расстрел откладывается. Вот только куда везут на этот раз? Наверняка нас ждёт очередная яма. Но неужели есть глубже и страшнее сегодняшней?

Из окружения не прорываемся, а выкрадываемся по-кошачьи тихо и осторожно. Когда впереди падают, преграждая дорогу, срубленные снарядами деревья, их объезжаем без надрыва мотора и ругани охранников. Безразличнее всего, по-моему, нам – когда долго ничего не видишь, действительность становится безразличной. Точнее, осознаёшь свое полное бессилие и отдаёшься судьбе.

Неожиданно останавливаемся. Какие-то переговоры по-чеченски. Голос для нас:

– Сейчас будет бой. Полковник, тебя или расстреляем, или бери в руки автомат и воюй против своих.

Всё. Снова так резко и неожиданно, словно на полном ходу затормозил железнодорожный состав. Вагоны надавливают, валятся под откос...

А от меня ждут ответа. Первая мысль – во спасение. Лучше взять автомат, а там, в окопе, с оружием, я даже могу помочь своим – расстреляю тех, кто рядом...

И тут же страх: а если получу пулю раньше, чем что-то сделаю? Приходят наши и находят меня с оружием в одном окопе с боевиками... Это видение потом, уже после плена, преследовало меня многие месяцы – меня, как предателя, пинают российские солдаты. Я мёртв и ничего не могу сказать в своё оправдание: грани между моей геройской гибелью и моим предательством нет...

Молчу. Опускаю голову. Усмехаюсь: почему меня волнует этот вопрос – как погибнуть? Не всё ли равно? Хотя получить в руки оружие было бы здорово...

Вновь переговоры на незнакомом языке, меня вроде забывают. Стрельба постепенно стихает, и мы вновь начинаем потихоньку двигаться. Пронесло? От смерти или предательства? Дорога постепенно выравнивается, скорость становится больше, и охрана по-чеченски начинает напевать свои воинственные мелодии. Значит, повезло. Вырвались. Пусть покажемся кому-то там, в мирной и светлой Москве, предателями, но лично для нас хорошо, что федеральные войска на данный момент не могут контролировать всю чеченскую территорию. А то получается: по воюющей республике разъезжают по ночам машины, всем ясно, что это не доярки возвращаются с вечерней дойки и не косари с

пастбища, – и хотя бы один снаряд вдогонку. Стыдиться за армейское бессилие или радоваться за самих себя? Ведь машины разъезжают и без нас, пленников...

Благостной нотой, перебившей все размышления и песни, донёсся до слуха собачий брёх. Мы едем в село? Села бомбят тоже, но не станут же боевики менять шило на мыло, а огонь на полымя. Наверняка здесь спокойно и безопасно.

Догадкой, пока ещё боязливой и неуверенной, хочется поделиться с ребятами, но в бок упёрт ствол автомата. А про село подтверждает и шёпот Боксёра с переднего сиденья:

– Короче, ни звука.

Подвозят, естественно, к очередной яме. Мы на них обречены, потому что подземные тюрьмы легче всего охранять. Руками нащупываем лаз и по металлической лесенке спускаемся вниз. Сырости не чувствуем, а когда дотрагиваемся до стен, впервые радостно улыбаемся – они бетонные. А потом – потом словно Деда Мороза прихватили, как и нас, на чеченской дороге и заставили высыпать нам из мешка все подарки. Вниз полетели одеяла, матрацы, подушки, пучок редиски, пачка сигарет и спички, бутылка с водой, доски для подстилки и канистра:

– А это вам «девочка». Будете трахать по очереди и когда захочется. Короче, днем в туалет выводить не получится.

Люк над головой с помощью лома задвигают бетонными плитами. С лёгоньким волнением шуршит лист железа, накрываемый для конспирации. Но всё ерунда по сравнению с предыдущим склепом. Мы – в царских покоях!

Но как же глупо заранее давать название тому, что ещё не проявилось! Именно в этом чистеньком, царском каземате-колодце мы чуть не остались на всю жизнь.

Но сначала ювелирно, доска к доске, постелили вагонку. Несколько штук хватило положить и под голову. Правда, из-за малых габаритов подвала «девочку» пришлось ставить в один угол с едой, но зато стояли во весь рост. Керосиновая лампа, как всегда, нещадно коптила, но ради ужина зажгли её на несколько минут. Редиску почистил заколкой от галстука, ею же затем зачистили от гари и фитиль. А в пакете – в пакете оказались куски мяса. Чего бы так не сидеть в плену? И не спать?

Пробудились от квохтания курицы-несушки, бродившей со своим выводком около ямы. Затем проехал трактор, значит, рядом дорога. Чуть в стороне играли ребяташки – скорее всего, мы находились на окраине села. Но в любом случае наверху – мирная жизнь. И не надо сюда никакой авиации и даже артиллерии!

Жизнь после «волчка» показалась настолько прекрасной, что принялись по очереди делать зарядку. На удивление, слишком быстро появилась одышка, но списали её на предыдущие бессонные ночи и переживания. И с мясом вышла промашечка: оставили на завтрак, а оно затухло в пакете. Есть не решились, помнили про ночной туалет. Так что погоревали искренне, тем более что оставшиеся три редиски голод не утолили. Сделали по глотку воды. Подметил за ребятами – сначала предлагают хоть питьё, хоть «девочку», хоть еду другим, себя оставляя на последнюю очередь. Борис пересчитал сигареты, но одну – святое дело после обеда – выделил себе сразу. Однако закурить не удалось: несмотря на духоту, спички отсырели и никак не хотели зажигаться.

– Давайте сюда, – отбирает коробок Махмуд.

Начальника, как и меня, он зовет то на «вы», то на «ты». На это не обращаем внимания, со временем само станет на свои места. То есть если сидеть долго, обеспечено

«ты», забрезжит свобода – начальник есть начальник.

Словно индеец из племени мумбу-юмбу, водитель втыкает по одной спичке в свои чёрные кудри. Сушить. Я под шумок краду одну сигарету и спичку, прячу: когда курево закончится, преподнесу нежданный подарок. В Афгане за такие штучки курцы молились на меня как на Бога.

Теперь остаётся лежать и слушать квохтание курицы. От «девочки» и протухающего мяса несёт душком, но деваться некуда, и Борис поторапливает Махмуда – перебить «ароматы» сигаретным дымом. Водитель извлекает одну из спичек, Борис для гарантии трёт её серой о штанину и, совершенно уверенный в успехе, чиркает о коробок.

Однако огонь не взялся, ему не хватило усилий обнять тонкую талию деревца, и он сгорел внутри самого себя. Вторую трём и лелею дольше, но эффект тот же.

И только тут доходит и насчёт одышки, и стойких, неветриваемых запахов, и якобы отсыревших спичек. Нас губит то, чему мы несказанно обрадовались в самом начале, – бетонные стены. Именно они не дают земле дышать, а сдвинутые над головой плиты замуровали не только нас, но и воздух.

– Может, постучим, – предлагает Махмуд. Взял доску, ударил ею по плите.

Шаги послышались сразу, словно охранник ждал сигнала. Тихо и грубо предупредил, даже не поинтересовавшись причиной вызова:

– Ещё раз стукнете, вообще никогда не открою.

Зашуршала слюда – нас накрывали ещё и плёнкой. Затем – тишина. Даже цыплята исчезли, не говоря уже о тракторах и ребятишках. Полдень. Июнь. Жара. Борис попытался покрутить повязкой, заставляя двигаться воздух, но тут же, обессиленный, лёг. Мне почему-то показалось, что умрём-задохнёмся именно во сне, и предложил:

– Давайте меньше двигаться. Но только не спать.

Не спать – это значит думать. Когда-то в шутку мечтал-жаловался, веря в несбыточность:

– Эх, оказаться бы на какое-то время в одиночной камере! Чтобы остановиться, оглядеться, подумать о жизни.

Сбылось.

Теперь лежи. Думай, философ. И впредь зарекись вызывать на себя даже в шутку то, что серьёзно на самом деле. Спецназ, который не вернётся. Красивое название. Но от тюрьмы и от сумы, как говорится...

Но сейчас и думать лень. Мысли беспорядочно скачут, однако не отходят дальше основного и главного: выдержим ли? На часы смотреть страшно, на стрелки словно навесили пудовые гири, переплели их цепями, убрали смазку, – двигаются с таким усилием и столь медленно, что в минуту вмещается до полусотни наших рыбьих вдыханий. Чем чаще дышим, тем медленнее и тягостнее уже не минуты, а секунды. И всё-таки не мы – время пожирает наш воздух. И как страшно мерить его глотками. Как неравнозначно это...

– Сколько времени? – не выдерживая, интересуется Махмуд.

– Угадай, --тяну, растягиваю секунду, пытаюсь сложить из неё хотя бы минуту.

– Три часа.

– Три часа – это ночью. А днём – пятнадцать, – учу парня армейским премудростям. Зачем? Чтобы не остаться в тишине и наедине со своими мыслями? Или из последних, но

сил карабкаемся к жизни?

– Не выдержим, – вслух произносит водитель о том, что знает каждый.

Поговорить бы и дальше – просто так, цепляясь ни за что, но сил нет даже на это.

Сознание начали терять к вечеру. Проваливание в небытие – вообще-то состояние пьянительное и сладостное, если ему не сопротивляться, пытаюсь коротким и частым дыханием раздвинуть грудь и дать ей воздух. Брать его неоткуда, колодцы становятся пустыми не только без воды.

– Борис, не спи, – слабо просил своего начальника Махмуд, сам тут же уходя во мрак и тишину.

Из последних сил приподнявшись, ползу в угол, где стоит бутылка с остатками воды. Берегли её на вечер. Но вечера не будет. Выплеснул её на стену – может, «задышит»? Уткнулся в секундную прохладу лбом. Хорошо... Легко и сладостно...

Когда очнулся, вода на стене испарилась, лоб царапают мелкие камешки. Пытаюсь отыскать сырое местечко, разобрал доски там, где утром мыли руки. Сухо. Бетон. Укладывать вагонку обратно не оставалось ни сил, ни желания. Снова уткнулся головой в развороченный угол и затих. Чему-то сопротивляться становилось бессмысленным. Вспоминать кого-то отдельно сил уже не было, и мысленно сказал сразу всем:

– Прощайте.

И оставил себя умирать в тихом спокойствии.

Но ведь как живуч человек. Издалека, сквозь ватную пустую тяжесть, но услышал, как скрежещет лом по бетону, отодвигая плиты. Успеют или нет? И тут же в яму провалилась прохлада. Но не раздавила, а принялась врачевать по-медсестрински приятными холодными ладонями лицо, шею, грудь. Свет фонарика заставил приоткрыть глаза – нужно было показать, что мы ещё живы, чтобы не подумали, что мертвы и нас нужно вновь замуровать, засыпать землёй, пряча трупы. Нас некоторое время молча рассматривали, но повеление осталось прежним:

– Повязки.

Подняли на глаза хомуты с шеи. Подползли к лестнице, беззвучно опущенной в нашу могилу. Выползти самим сил не хватило, и нас вытащили наверх за руки. Вот тут уж ночной воздух надавил, сжал грудь, словно медсестру сменил грубый, недоучившийся костолом-массажист. По телу пошли судороги, ноги подкосились, и я рухнул на землю, корчась в судорогах. Рядом била дрожь вытянувшегося во весь рост Махмуда.

– Вы чего это? – с некоторой долей тревоги спросил Боксёр.

Ответить смог лишь Борис:

– Задыхались. Не хватало воздуха.

– А что ж вы так неэкономно дышали? Наверное, слишком часто. В туалет пойдёте?

Ещё бы на танцы пригласил. Или по девочкам. А нам бы полежать, надышаться. Перестать дёргать грудь короткими толчками в надежде найти там хоть каплю кислорода.

– Если можно, мы полежим, – отмечает и танцы, и девочек даже холостяк Махмуд.

– Полежите, – совсем миролюбиво соглашается Боксёр.

Может, и в самом деле испуган? Приказали стеречь, а тут три полутрупа.

Щедрость расплескалась минут на сорок. Могло быть и дольше, но Борис попросил закурить, и вывод напросился сам собой – ожили. Когда снова оказались внизу, попросили

оставить хоть небольшую щель для воздуха.

– Столько хватит? – поинтересовался Боксёр, оставив меж плит небольшой треугольничек неба.

Неровная, словно нарисованная средь звёзд детской рукой фигурка показалась нам ширию от горизонта до горизонта.

– Короче, не вздумайте помирать, – предупредил Боксёр таким тоном, что можно было испугаться самой смерти: мол, после неё придумаю такое, что опять жить захотите. – Жратвы утром дадим.

А нам воздух – и жратва, и свобода, и счастье. Лежали, смотрели в треугольное, вместившее пять звёздочек, небо и радовались судьбе, сохранившей нам жизнь. А утром в эту же щель просунули ещё и кусок лепешки, бутылку бульона, чай.

– Мясо ещё осталось? – голос незнакомый.

Словно виноватые в том, что оно протухло, задохнулось вместе с нами, солгали: да, конечно, спасибо. Даже я со своей решимостью ничего не стесняться поддакнул. Лишь бы оставили щель и на день.

Оставили. Но снова накрыли пленкой.

– Это чтобы цыплята не провалились, – попытались мы с Махмудом оправдать охрану, прекрасно видевшую наше вчерашнее состояние. В иное просто не хотелось верить.

– Какие цыплята! – не соглашается принимать игру Борис. – Идёт психологическая обработка. И с «волчком», и сейчас с удушением.

– А смысл? Чего нас обрабатывать? С нас требуют какую-то военную тайну? На пять минут бы опоздали, и вся психология пошла бы коту под хвост.

Вяло спорим, больше глядим на белое пятнышко целлофана. Не сильны в физике, но академиев заканчивать не надо, чтобы понять: скоро солнце нагреет воздух, и мы вновь обрекаемся хоть и на более медленную, но тем не менее смерть. Второго раза нам не выдержать.

И снова сначала перестали гореть спички, потом появилась одышка. Вновь стали ползать по дну ямы, вынюхивая, в каком углу сохранилось побольше воздуха. Затем легли и, теряя сознание, умирая, стали ждать: или смерти, или Боксёра. Что, собственно, одно и то же.

Появился Боксёр.

– Живо наверх.

Про повязки не напоминает. Днём, ещё в нормальном состоянии, на эту тему придумали загадку для «Поля чудес»: средство, при помощи которого осуществляется передвижение по Чечне, семь букв.

«Повязка».

Она и сейчас скрывает всё вокруг, а нас, полуживых, толкают в машину, неслышно когда подъехавшую. И снова дорога в неизвестность, и снова тайные удары в живот, и кто-то подёргивает с переднего сиденья предохранителем автомата: вы под прицелом, сидите смирно.

Сидим. Дышим. Откусываем от ночного воздушного пирога полный рот и, не прожёвывая, тут же запиваем его воздушным прохладным настоем. Кусаем и запиваем. Насытиться, нажиться до очередного sklepa. А может, отвезут в комнату, где мы провели

первую ночь? Пусть хоть на две цепи посадят, но лишь бы имелись свет и воздух.

Привезли.

– Ступени.

Будет счастье, если они поведут вверх. Но нога проваливается вниз, откуда несёт знакомым до боли запахом прелости.

– Пригнись.

Дверца узкая и низкая. Ступени земляные, вырыты изгибом. Около десяти. Внизу наступаю на что-то мягкое. Замираю. Что ждёт здесь?

– Можешь снять повязку.

Милый бедный Красный Крест. Предполагал ли он, штампуя агитационные платки, что они станут служить людям именно для таких целей?

В подвале чадит лампа, но в первую очередь радуюсь земляным, в глубоких трещинах-разводах, словно морщинистый лоб столетней старухи, стенам. Пол устлан одеялами, что говорит о подготовке норы заранее. Сверху слепо спускается Борис, и на правах обжившегося хозяина принимаю его, отвожу в угол. Затем водителя. С новосельем!

С верхней ступеньки смотрит сквозь маску Боксёр.

– Короче, располагайтесь. Авось здесь не помрётё. И не шуметь. Сейчас принесём чай.

Исчезает. Дверь на самом деле маленькая, до нее шесть ступенек. Слышно, как её запирают. Кажется, наручниками.

– В любом случае это лучше всего предыдущего, – отмечаем все вместе плюсы новой тюрьмы.

Пока готовят чай, обносим по углам лампу, знакомясь с хозяйством. На земляном полу – полуистлевшие матрацы, прикрытые одеялами. Подушки. В углу стыдливо и обречённо притулилась новая «девочка». Если в колодце нам предложили худенькую блондинку, то сейчас – полная брюнетка. А вот размеры ямы поменьше. Замеряю расстояния расчёской: двенадцать штук – ширина, двадцать шесть – длина. Только улечься и не шевелиться. Зато высота — на вытянутую руку.

На дворе ночь, а я начинаю делать зарядку. Одновременно прислушиваюсь к себе, нет ли одышки. Вообще-то огонёк лампы колышется, значит, воздух есть. А важнее ничего и нет.

– Завтра неделя, как мы в плену, – вдруг подсчитывает Махмуд.

Замираем. Неделя – это сто лет или одно мгновение? В свою первую пленную ночь думал, что семи дней хватит нашим оперативникам на мои розыски. И какой длинной она тогда казалась! Наверное, как раз на то количество раз, которое мы умирали и рождались заново.

Нет, неделя – это всё-таки сто лет, которые просто пролетели мгновенно.

Зато очередные триста лет, то есть двадцать один день, превратились в единую нескончаемо душную ночь. Да, воздух был. Да, рано-рано утром и в двенадцать ночи приносили еду: чай, хлеб, сосиску, помидор – что можно схватить на рынке. Иногда, но

зато по три-четыре дня подряд, могли опускать на ступеньки только миску творога, перемешанного с солью и чесноком.

– Это вкусно, это очень вкусно, – уговаривал себя Махмуд, чайной ложечкой уменьшая свою долю.

Но мы лишились света. Узенькая, в иголочку, полоска между разохшимися досками в дверце и белесый, уже в ниточку, штрих поверх проёма напоминали букву «Т».

Тупик.

Дней через пятнадцать, когда стали гноиться глаза, вдруг обнаружил: стою на коленях перед этой буквой и совершенно машинально твержу:

– Ненавижу!

Тупик. Темноту. Безвыходность ситуации. Свое бессилие. Куда-то исчез Боксёр, и хотя вместо него стал появляться высокий спокойный парень, прозванный нами Хозяином, мы лишились ещё и общения. Хозяин на любые наши вопросы отвечал односложно «ну», и порой мы даже скучали по резким, всегда подводившим нас под расстрел или сумасшествие психологическим беседам Боксёра.

Поняли, что если хотим что-либо узнать, то во время передачи еды нужно задать только один вопрос. И даже чтобы не вопрос это был, а какое-то размышление, приглашение к разговору или обсуждению, не требовавшим от охранника ответственности и обязательств.

Вопрос готовили, оттачивали часами, определяли, кому из троих его лучше задать. И вместо, допустим, ежесекундного: «Ну делается ли по нам хотя бы что-либо?» – в конце концов звучало безобидное сочувствие:

– Наверное, надоело вам с нами возиться...

– Ну.

Не прошло. А что, если попросить помыться? Если с нами вопрос решается, прикажут потерпеть. Если грядёт долгое сидение, ведро воды не пожалеют.

Не пожалели. Плохо...

Во время очередного полночного и одиночного вывода в туалет надолго пропал Борис. Следом приглашают наверх меня. Я, нужно мне было в туалет или нет, никогда не отказывался лишний раз вылезти на свежий воздух. На этот раз перекинуться с Борисом даже парой слов, почему его задержали, не смог. Дорогу, хоть и в повязке, изучил, но на этот раз повели в другую сторону. В плену всё новое, непривычное изначально таит опасность и заставляет напрячься.

– Раздевайся, – останавливает Хозяин. Зачем? – Ополоснись.

Значит, свобода не завтра, а тем более не сегодня.

Настроения нет, мыться не хочется, хотя весь липкий от пота. Но завшиеем – себе станет дороже. Теперь надо другой вопрос готовить. И думай, что лучше: находиться в неведении и каждый день встречать с надеждой, или реально смотреть на действительность и искать элементарные способы выживания? В плену идёт игра в подкидного, к тому же ты вынужден играть вслепую. Но смухлюешь – глядишь, и выиграешь. При этом зная, что ежели попадёшься, от соперника пуля в лоб обеспечена.

Ополаскиваюсь, поливая самому себе из кувшина. Хозяин стоит в стороне. Разрешают снять платок. Сплошная темень, к тому же приставлен лицом в каменную стену. Даже буквы «Т» нет, проклясть нечего.

Назад до подвала не доходим. На этот раз останавливает Боксёр.

– Хау ду ю ду, полковник?

Голос сбоку. Чувствую подвох, но распознать его не могу. Пауза, как и в первом подвале, затягивается, но на этот раз решил молчать.

– Ты что, не знаешь английский?

– Нет. Учил немецкий.

– Не надо! В КГБ все учат английский. Я тебе обещал отрезать уши, как только узнаю, что ты контрразведчик?

– Да. Но я журналист.

– А у меня нет времени заниматься перепроверками, мне воевать надо. Журналистское удостоверение – «крыша». Но как тебя усиленно принялись искать спецслужбы, говорит о том, что ты – их человек. Простого смертного так не ищут. Ты – из ФСБ, а с этими ребятами у нас разговор короткий.

Чувствую, как слабеют ноги. И сам не пойму, от чего: то ли от угрозы и полной своей беспомощности доказать что-то обратное, то ли от первой весточки – меня ищут. Ищут!

– Иди и готовься к расстрелу.

Могу и не идти. Я готов.

– Иди, – толкают в спину. Они отмеряют мне часы и минуты.

В яму запикивают ногой.

А отрезанные уши мне приснились через два дня: якобы в какой-то клинике мне приделывают вместо них протезы. Они не подходят по цвету к лицу, и я прошу их заменить...

Из рассказа

заместителя директора ФСНП России

генерал-майора налоговой полиции

А. Пржедомского:

«Первый упор во всех газетных публикациях был сделан, конечно, на то, чтобы до боевиков дошла информация: Иванов скорее писатель, чем офицер. Мы понимали, что тем самым даже поднимаем вам цену и потом будет труднее вас вытаскивать. Но в тот момент важнее было, чтобы вас не расстреляли под горячую руку именно за полковничьи погоны. Опасения на этот счет имелись: после артиллерийских или авианалётов жители сёл требовали отмщения, и боевики в последнее время стали привозить на эти места пленных офицеров и демонстративно расстреливать их.

Конечно, создали оперативный штаб по вашему поиску и освобождению. Заседали ежедневно: что сделано, что ещё задействовать?

ФСБ дала команду своим сотрудникам начать поиски непосредственно на месте. Этим же занялось МВД, имевшее в Чечне свои структуры. Ориентировки по вам ушли в Главное разведуправление Министерства обороны и отдельно в разведотдел Северо-Кавказского военного округа.

Наши оперативники вышли на всех мало-мальски значимых чеченцев-коммерсантов в московской диаспоре. Понимая, что здесь игры отошли в сторону, настоятельно попросили и рекомендовали передать по всем каналам – родственным, деловым – в Чечню:

если Иванов будет убит, налоговая полиция воспримет это как вызов правоохранительной структуре, а мы – не мальчики для битья. Разговор мог быть только таким – жёстким, требовательным, с позиции государственной структуры.

Директор ФСНП Сергей Николаевич Алмазов, взявший операцию по освобождению под личный контроль, произнёс ключевую фразу, от которой мы все затем и плясали.

– Спасти Иванова – дело чести налоговой полиции. Иных разговоров не должно быть.

Однако первую достоверную информацию о том, что вы живы, мы получили через посредника лишь 18 июля...»

В это же время, самостоятельно:

«Евгений Месяцев, кинорежиссёр, мой добрый приятель, позвонил в штаб воздушно-десантных войск, командующему Е. Подколзину:

– Евгений Николаевич, в Чечне пропал Иванов, бывший десантник. Всю жизнь писал про "голубые береты". Неужели не вытащим?

К тому времени практически все десантные подразделения из республики уже вывели. Но в оставшиеся мелкие разведгруппы ушла шифровка: помимо основных задач предпринять усилия по поиску и освобождению Н. Иванова.

Ваня Анфертьев, мой однокашник по Львовскому политехническому институту, вышел на Казань и Ереван, подключил к поиску и спасению высших духовных лиц Татарстана и Армении.

Комиссия по делам военнопленных, возглавляемая генералом В. Золотарёвым, добилась, что моё имя внесли в списки насильственно удерживаемых и подлежащих обмену под вторым номером.

Редакция газеты «Московский комсомолец» отправила в столицу Турции Стамбул своего корреспондента с заданием выйти на исламские организации, поддерживающие чеченских боевиков, и через них попытаться что-то узнать о моей судьбе.

Депутат Государственной Думы, мой земляк, писатель Юрий Лодкин написал письмо Руслану Аушеву и попросил ингушскую сторону включиться в поиски. Было отправлено им и письмо президенту Ичкерии З. Яндарбиеву, кстати, поэту, члену Союза писателей СССР.

Владимир Осипович Богомолов, автор «Момента истины», набрал, наверное, несколько сотен телефонных номеров, не давая ни на один день забыть обо мне тем, кто хоть как-то мог помочь в поисках.

Мои добрые знакомые, светлые люди мать и дочь Л. Жукова и О. Жукова вместе с военными журналистами заказали в Никольском храме Москвы молебен в честь святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, прославившейся тем, что часто, поменяв роскошные одежды на нищенское рубище, тайно выходила из дома и обходила темницы. Покупая за золото вход в них, умывала руки и ноги заключённым, расчёсывала им спутанные волосы, смывала их кровь, перевязывала раны чистыми полотенцами, подавала каждому еду и питьё. Желая помогать больным и несчастным, выучилась врачебному искусству, став отрадой для всех тяжело испытываемых и изнемогающих телом заключённых невольников.

Существует, оказывается, и связанная с этим именем "Молитва заключенного":

...Облегчи бремя бедствия моего. А ежели понести мне суждено, да понесу с терпением ради очищения грехов моих и ради умилоствления Твоего правосудия... Да не

постыжен буду перед лицом всего мира на Страшном суде Твоем. Прихожу к Тебе скорбный и печальный, не лиши меня духовного утешения. Прихожу к Тебе омраченный, яви мне свет упования спасения...»

А мы сидели в сплошной темноте погребов и от нечего делать играли в города. Первым всегда шёл Нальчик. Как в известном фильме:

– А почему Нальчик?

– А мы туда не доехали.

А что ещё можно придумать, чтобы убить время в темноте? Ну, перебрали все виды спорта, зверей и птиц, мужские и женские имена, пересказали анекдоты и свои судьбы – а через неделю всё равно лежим, молчим. Утром, правда, зарядка – помахать руками, поприседать. Ходить негде, топчемся на месте. Просто переминаясь неинтересно, быстро надоедает, и придумываю новую забаву:

– Пройдусь-ка я до метро. Вслух.

«Иду» по Маросейке от налоговой полиции до «Китай-города», рассказываю-вспоминаю, что встречается по пути. Ребята слушают – тоже занятие. Махмуд иногда подколлет:

– А девочки в Москве-то хоть есть? Что-то ни одной пока не встретилось. Гляди, какая краля навстречу плывёт.

Когда они и сами могли с закрытыми глазами пройти этот путь, когда очерёдность городов знали, как таблицу умножения, и даже не вторгались в отполированный перечень соседа, начали вспоминать песни.

Про то, что мне медведь на ухо наступил, знал с пелёнок, но ребята терпят мои напевы и иногда подсказывают слова. Зато в памяти всплыли строки, казалось бы, навечно погребённые и утопанные современной попсой:

Возвращайся, я без тебя столько дней.

Возвращайся, трудно мне без любви твоей...

А эта:

Я вернусь к тебе, Россия.

Знаю, помнишь ты о сыне...

Приходилось петь и с купюрами. Махмуд как-то попросил «из зала» военных, фронтовых песен. Конечно же, первым номером пошла «Жди меня». Но когда пропел: «Туман, туман, седая пелена. А всего в двух шагах за туманами война», – тут и споткнулся. Всё же допеваю очередную строчку – конечно, шёпотом, все четыре месяца мы разговаривали только шёпотом, – «Долго нас невестам ждать с чужедальней стороны», а в памяти вырисовывается очередная: «Мы не все вернёмся из полета...»

Чур не про нас.

Запинаюсь, пропускаю концовку. Зато вспоминаю Людмилу Даниловну Чемисову, прекрасную певунью из «Советского воина». Не только с совершенно чудным голосом, но, главное, знающую миллион песен. И не по одному куплету, как все смертные, а от начала

и до конца.

– Ну что, Даниловна, споём? – разговариваю сам с собой.

– Лучше бы она одна нам спела, – как-то осторожно намекает на мои вокальные данные Борис. Стопроцентно уверенный, что незнакомая Даниловна в любом случае поёт лучше меня.

Но ни другу, ни врагу не желаю подобной сцены. Выпало мне тянуть этот мотив – допою его до конца. Сам. Как смогу.

А вот отношения между нами самими – ещё осторожнее. Сокамерников не выбирают, взгляды на жизнь и на события в стране у нас с Борисом порой прямо противоположные. Махмуд чаще молчит, но когда мы переходим с шёпота на голос, взрывается:

– Как же вы мне надоели. Всё, уйду от вас. Оставайтесь одни.

Уйти некуда. Ни ему, ни нам. Смотреть некуда. Делать нечего.

– Нальчик.

– Калуга...

Глаза гноиться первыми начали у Бориса: он однажды утром не смог расцепить слипшихся век. Вспоминаю десантно-полевые медицинские хитрости: кажется, воспаления снимаются заваркой чая. Попросил Хозяина принести чай без сахара. И вот утром и вечером, словно вшивые интеллигенты, пальчиками промывали глаза, а затем, уже как бомжи, рукавами вытирали подтёки.

Но это оказалось порханием бабочек по сравнению с зубной болью, которой стал маяться Махмуд. Он вначале притих, затем принялся искать себе пятый угол. Нашёл, когда улёгся лицом в пузатый, «беременный» нашей мочой живот «девочки». И предпочёл его боли. А тут ещё вместо Хозяина стал появляться его Младший Брат. Он ни на мгновение не задерживался в подвале, за что, видимо, и бился постоянно головой о низкую притолоку дверцы. Разговор с ним мог идти только о миске и в одну сторону: «давай» и «возьми».

– У Махмуда зуб болит, есть чем полечить? – почти безнадежно пытаюсь остановить его.

Оказалось, знает не только другие слова, но и стоматологию:

– Можем только выбить.

– Ну тогда дайте хотя бы чеснока, лука. Сала, наконец, – прошу в закрывающуюся дверь.

Борис наваливается на меня, гасит последние слова:

– Какое сало? Ты что! Мусульманам по Корану нельзя есть свинину.

А держать людей в темницах – разрешено? Любим мы выбирать даже в религии то, что удобно и выгодно. А я просто знаю, что кусочек сала, приложенный к десне, рассасывает боль. Религия – это помощь, а не пустая вера...

Но просьба оказалась услышанной. Утром Хозяин вначале принёс анекдот:

– Заболел у чеченца зуб. Стонет, сам бледный. А тут гости едут. Чтобы не показать, что он страдает из-за какого-то зуба, хозяин отрубил себе палец. И теперь на вопрос, почему бледный и стонет, гордо поднимал перебинтованную руку: «Да вот, нечаянно отрубил себе палец». – «Э-э, – махнули рукой гости. – Главное, чтобы зуб не болел».

А днём, что само по себе небывалое дело, дверь открыл исчезнувший было Боксёр.

– Узнаёте? – присел на корточках вверху. Кивнули как старому знакомому: салам

алейкум. Бросает нам вниз две головки чеснока и две свечи.

– Короче, забочусь о вас. Чтобы цинги не было и свет имелся. Так, Николай?

Меня впервые называют по имени! Запомним число — 9 июля. Наверху, то есть на воле, что-то произошло? Хорошие новости?

Нетерпение столь велико, что спрашиваю открыто, без подтекста:

– С нами что-то решается?

– Решим. А не решим – пристрелим, – в своей манере заканчивает разговор Боксёр.

– Всё нормально, – сдержанно радуемся появлению старого знакомого.

Но всё рухнуло в одночасье, когда в этот же вечер над селом стали заходить на боевой курс самолёты, сбрасывая неподалеку бомбы. И если уж вздрогнули от неожиданности морщинистые столетние стены подземелья, то что тогда говорить о нас.

– Что там? – спросили у Хозяина, принёсшего глубокой ночью неизменные сосиску и помидор.

– Снова война. По телевизору показывают разрушенные дома и убитых детей. Обещали же, что после выборов всё затихнет!.. Нет, России нельзя верить.

Остался сидеть на корточках, словно не хотел выходить наверх, где продолжалась бомбёжка. Я не кончал музыкальных школ, но, кажется, сегодня заткнул за пояс своим открытием Баха, Бетховена, Шуберта, Чайковского и Шостаковича вместе взятых. В природе существует, оказывается, восьмая нота, которая и определяет всю музыку. На войне это – падающие авиабомбы.

– У нас... есть какие-то шансы?

– Теперь нет. У вас теперь никаких шансов.

И уходит.

Скажи подобное Боксёр – поделили бы на пятьдесят. Плохо, когда начинают разговаривать и приносить плохие вести молчаливые. У них все слова – правда. Зачем ночь, если день так же бессветел и долог. К чему слова в песне, если восьмая нота заглушила, заткнула за пояс все эти божественные до-ре-ми-фа-соль-ля-си подобно тому, как я перед этим щёлкнул по носу композиторов.

Но ужин-то принесли! В «волчке» вроде тоже прощались с жизнью... Верить, верить в неё до последнего!

– Главное, чтобы зуб не болел.

Сказал скорее для себя, но заворочались, сминая напряжение, и ребята.

– Ну когда я вас наконец покину, – застонал Махмуд. – Надо было напоминать про зуб!

Но в голосе нет злобы, и жалуется он только ради поддержки иного, чем мысли, разговора.

– А он ещё сало просил, – напоминает водителю Борис, втягиваясь в разговор.

Но что втягиваться, когда совсем рядом земля застуженным старцем отхаркивается кровавыми сгустками-осколками. А её всё бьют, бьют, бьют, не давая ни отвернуться, ни отдышаться.

Значит, опять война. Перед президентскими выборами присмирившая, надевшая платочек, припудрившая носик и подрумянившая щёчки, она вновь смыла ненавистный её духу макияж и ощерилась клыкастым ртом. Выпустила из-под рукавов вороньё-самолёты. Напустила дым-огонь на селения, растолкала уставших – в бой, в бой, в бой. Разбудила

успокоившихся и примиривших с тем, что есть, – драться, драться, драться. И неужели кто-то надеется, что выросшие (не погибшие!) чеченские дети станут с уважением или любовью относиться к русским: «Это они меня убивали». Какая чеченка-мать промолчит, когда ребёнок спросит: «А кто это стреляет?» или «А кто убил моего папу?»

Не позволяй, чтобы из твоих сыновей делали варваров, Россия. Не приучай и не заставляй их уничтожать собственный народ и собственные города. Кто же придумал её, эту странную войну, которая никому вроде не нужна, но которую тем не менее не прекращают? Ведь за каждой развязанной войной стоят конкретные люди... Впрочем, иногда войны не нужно и развязывать. Их можно попросту не предотвращать...

Только нам ли, загнанным в нору, думать и печалиться обо всём человечестве? Это всё равно что тушить пожар во время наводнения: не стогит, так затопится.

Оставалось единственное и самое благоразумное: не рвать нервы и не психовать. Если могила для нас вырыта, то пусть уж лучше в неё столкнут, чем лезть туда самостоятельно.

Бомбёжка продолжалась дня три. Самое странное, но она раскрепостила Хозяина. У него не то что проявилась речь, а в словах становилось всё больше и больше боли, непонимания происходящего. Правда, что о собственной боли любят говорить даже молчуны. Его же история, вероятно, типична для многих боевиков. Дом разбомбило в первые дни войны. Деда перевезли к знакомым в горное селенье (при нас по-прежнему не упоминалось ни имён, ни каких-либо названий), – там заболел, не ходит. Отец с матерью и младшими братьями уехали к родственникам за пределы Чечни. Хозяин с одноклассниками остался в селе сторожить остатки жилища. Когда пришли федеральные войска, взял автомат, ушёл в горы. Два года воюет.

На наш намёк на то, что мы ценим его спокойствие, невольно передающееся нам, ответил невозмутимо:

– Пока вы в плену и беззащитны, лично я вас пальцем не трону. Но прикажут расстрелять – расстреляю, в этом не сомневайтесь. Сахар есть?

Его стали приносить в банке из-под пива. Как ни укрывали её от муравьев, те проникали к сладости, перемешивались с песком настолько, что очистить сахар становилось невозможно. Кроме как высыпать чёрно-белую шевелящуюся массу в кипяток, а затем отцеживать сквозь зубы ошпаренные тушки.

– Питательнее, – нашли оправдание, чтобы не брезговать. При выживании книгу жалоб требовать глупо.

Когда самолеты оставили в покое землю и небо, чуть успокоились и боевики. Даже однажды ночью на допрос меня вызвали по имени.

Да что имя! Наверху, ткнув под колени, подставили скрипучий стул. Для долгого разговора? Или сообщат вести, от которых подкосятся ноги?

Сажусь, прекрасно сознавая, что он стоит на земле на одной ножке. Да и со стула порой кувыркнуться можно гораздо быстрее, чем стоя на ногах.

– Где служил в десантных частях? – голос сзади меня новый, незнакомый.

Перечисляю: Псков, Прибалтика, Афганистан.

Что-то сказал про ФСБ Боксёр, но по тому, что его резко обрывают, понимаю: допрашивает старший.

– Как укладывается парашют?

Нет проблем, хоть сейчас уложу. Но зачем это Старшему? Делать меня инструктором-парашютистом?

– Книгу «Гроза над Гиндукушем» ты написал?

– Я.

– Она у меня есть. С фотографией. Ты в самом деле писатель.

Наконец-то! В другое время откинулся бы на спинку стула и забросил нога на ногу. Но что несут эти «открытия»? Стул лишь нашупал землю второй ножкой, не более того...

– Насчёт твоих отношений с Грачёвым тоже всё подтверждается, – продолжает поражать своей осведомленностью Старший. – Мне Грачёв тоже враг, но ваши дела – это ваши, и мне на них плевать. А вот мы с тобой служили в Афгане рядом. Служили бы вместе – может, и отпустил бы. Сейчас могу лишь пообещать, что просто так, из прихоти, мы тебя не расстреляем.

Нет, стул стоит на земле твёрдо. И на четырёх ножках. Мёртво стоит. И не охранник его подставил. Судьба. Трижды, да, трижды в жизни меня убеждали, что я ломаю себе жизнь, пробуя ходить по «острию бритвы». Первый раз – когда после окончания училища пригласили служить в воздушно-десантные войска.

Вообще-то они для военного журналиста интересны, но – малоперспективны. Газеты – только «дивизионки», а это меньше, чем «районки». Служебного роста, соответственно, нет. Места службы – небольшие города и посёлки. Плюс парашютные прыжки, вечные учения. Словом, с потолка заметку не напишешь.

– Раз пригласили, значит, пойду.

Те, кто ехал сразу в большие газеты и крупные города, откровенно жалели:

– Зря ты лезешь в эти ВДВ. На них красиво смотреть лишь со стороны, у них – пять минут орёл, а двадцать четыре часа – ишак. Засохнешь.

Второй раз откровенно покрутили пальцем у виска, когда предложил себя на замену журналистам, первыми вошедшим в Афган.

Потом, когда на афганской и десантной теме написал первые книги, в том числе и упомянутую «Грозу...», когда из «дивизионки» взяли в журнал «Советский воин», а вскоре назначили и его главным редактором, разговоры, правда, стали иными: конечно, ты вращался среди такого, что не написать грех.

Зато когда подал рапорт с просьбой освободить от должности главного редактора, друзья вздохнули откровенно озабоченно:

– Ох, аукнется тебе этот шаг. И, наверное, не раз.

Аукнулось. Все три раза аукнулись. Плюсами, потому что и ВДВ, и Афган, и отношения с Грачёвым затронули Старшего. И как раз в тот момент, когда жизнь висит на волоске. Судьба всё же догнала, не оставила. Ничего в жизни зря не происходит. Всё учитывается, и за всё платится...

– В общий лагерь я тебя не отдам, ни в каких списках пленных тебя не будет, – продолжил Старший чертить линию судьбы на моей руке. Но почему не сдаст и не включит? Это хуже или лучше? Стул вновь станет на три ножки или вообще начнёт терять равновесие на одной? – Твоей судьбой буду заниматься сам. Если твоё начальство пойдёт навстречу, значит, договоримся, а нет... Тогда извини. Итог для всех у нас один. По всем каналам мы уже сообщили, что ты убит при попытке к бегству.

Стул не зашатался – его попросту отобрали. Разговор окончен. Теперь от меня ничего

не зависит. Только от налоговой полиции. Но какие выставят условия? Пойдут ли наши на них? Будут ли иметь право пойти: мы – государственная спецслужба, а не частная лавочка. Прибавил начальству заботы...

– Но было бы лучше, окажись ты контрразведчиком, – вернулся, чтобы закрыть эту тему, к первым разговорам Старший. И объяснил причину: – Их быстрее выкупают и меняют. А с вами, видимо, придётся повозиться. Всё.

Следующим на выход требуют Бориса. С ним, судя по всему, говорили по-иному: спустившись обратно, тот молча и нервно закуривает. Ждём, когда окурок вомнётся в нижнюю ступеньку.

– Сказали, что меня спасут только деньги.

– Сколько? – решается спросить Махмуд. У него вообще непонятная роль. Вначале хотели отпустить, потом сказали:

– За тебя, парень, ничего не дадут, поэтому сидишь за компанию. Но выйдешь последним, чтобы ФСБ не село нам на хвост. Зато когда выйдешь, с удовольствием набьёшь им морды, – кивнули на нас с Борисом.

– Набью, – охотно поддержал идею водитель. – Дайте только выйти.

– В плен можно бесплатно только войти, а выход – уже мани-мани. Так что твоя свобода зависит от них.

Потому и прорвалось у Махмуда с тревогой:

– Сколько?

– Миллиард. За меня и тебя. Это последняя цифра. Если ничего не придумаем, с нами возиться не будут.

Наверху прокукарекал петух. Но нет, это не красные дьяволята, не неуловимые мстители налетели нас спасать. Это на самом деле ходит по двору такой, орёт днём и ночью. Как и боевикам, дали ему кличку – «Петух с куриными мозгами». А он, наверное, просто ошалел от бомбёжек.

А мы ошалеваем от суммы. Миллиард – это же сначала надо найти сто миллионов, потом двести, триста...

Из рассказа сослуживцев Бориса Таукенова:

«Когда от посредника узнали эти нули, сначала подумали, что ослышались. Откуда? Да и ребята столько сделали для Чечни, чеченцев! Сколько беженцев вывезли, сколько устроили на работу в Нальчике, скольким помогли поехать лечиться!

Старейшины, муллы Балкарии решили ехать в сёла, около которых произошло пленение, поговорить с людьми по-соседски. Вернулись ни с чем. Жена искала Бориса в окрестностях Грозного около сорока суток. Приехавшая туда же тёща попала под бомбёжку, сломала ногу. Брата, колесившего по республике, поймали, поставили к стене, стреляли над головой: ещё раз приедешь без денег, не отпустим. Когда родственники пришли с собранным со всех закоулков, с выделенной головным банком суммой в четыреста миллионов рублей, посредник усмехнулся: за такие деньги вам даже труп не отдадут».

Махмуд тянется к пачке сигарет, закуривает. Неловко оправдывается:

– Я не курить. Зуб болит.

Остаётся лежать у огарка свечи, зажжённой для вызовов. Протачивает на её мягкой белой спинке бороздку, спуская вниз озерко расплавленного воска. Свеча в таком случае сгорает значительно быстрее. Но что ему свеча, когда на него навесили ценник. Миллиард... А почему не назвали цифру мне? Или я иду у них на обмен?

– Долбанный петух, – смотрит вверх Махмуд. – Кто будет сушняк?

Протягивает остатки чая. Отпиваем по глотку. Молча укладываемся спать.

– Николай, тебя твои не бросят? Искать будут? – неожиданно спрашивает Борис. Хочет хотя бы с этой стороны получить какую-то надежду...

– Даже не сомневаюсь.

– Ты так уверен? Государству всегда было наплевать на своих людей.

Резкая оценка удивляет, но сегодня не до споров.

Насчет государства не знаю, но налоговая полиция не бросит. Сейчас перебираю в памяти людей, с которыми служил, руководство – нет, наши станут биться до последнего.

– Тогда тебе повезло. А меня в последний раз чаще всего окружали подлецы. Которые мечтали нагреть руки на моей должности и моей мягкости... Извини, можно мы с Махмудом поговорим по-балкарски?

– Конечно.

Они зашептались, а мне совестно. Если разговор со Старшим лично мне дал хоть какую-то надежду, то у ребят он её отобрал. Я уверен в тех, с кем служил, они разочарованы, потому что не могут припомнить никого, кроме родственников, кто попытается хлопотать за них.

Поэтому топчу, скрываю свое возбуждение – его ни в коем случае не должны чувствовать ни Борис, ни Махмуд. Иначе... В камере или должны сидеть одни смертники, или надежда должна быть у всех.

Свечи сгорели, керосин в лампе кончился. Вместо Хозяина бьёт себе голову о притолоку Младший Брат со своим неизменно тупым: «бери-давай». Махмуд раскурился и помог Борису добить последние сигареты. Теперь вместе жгут спички, выковыривая из земляных ступенек старые окурки и выбирая из них самые большие.

Я который день баюкаю правое ухо. Заныло, засвербило неожиданно, хочется поковыряться в нём только что найденным гвоздём. Ухо – не зуб, его даже если и оторвёшь, болеть всё равно не перестанет. На зуб вспомнилась и присказка, продаю её Махмуду: «Зуб, зуб, не болей, дам тебе пять рублей». А вот чем успокоить свою боль? Сделал ладонь лодочкой, уложил в неё ухо – поплыл то ли в полусне, то ли в полубреду.

– Эй, подъём, уборка, – напоминает Борис.

То ли раньше не замечали, то ли уже во время нашего пребывания по углам нависла паутина. Так что повод объявить генеральную уборку – без дураков, жёны от такой нашей добровольности пришли бы или в недоумение, или в восторг. Да где те жёны? Вернее, где мы...

Чистим углы, осторожно стряхиваем себе же под ноги пыль из одеял. Собрали все

окурки, спички, щепочки, выкопали ложкой в углу кюветик, засыпали мусор, утрамбовали. На целых полтора часа растянули минутное дело. Дома бы наверняка сказал, что угробил время. Но ныне мы со свободой живём в разных измерениях.

Счёт пленным дням ведём утром и вечером, да и в промежутках раз по пять друг у друга переспросим. Доходит до того, что начинаем сначала мечтать, а потом и проситься на какую-нибудь работу.

– Хорошо подумали? – усмехается охрана.

Усмешка слишком зловещая. Вспоминаю чью-то крылатую фразу: не жалей, что было, не гадай, что будет, береги, что есть. Но боевики уже рисуют картину маслом:

– Там в Аргунском ущелье ваши пленные дорогу в Грузию пробивают. Так что каменоломни ждут вас.

Потом, одиннадцать лет спустя, мне представится возможность полететь на пограничные заставы, расположенные именно в Аргунском ущелье. Из Владикавказа (владеющего Кавказом) на «вертушках» нашу группу перебросили на горное плато Тусخورой, нависшим над Ургуном.

Первое, что увидел после приземления – два креста. Первый – парящий внизу, под нами: это орёл оказался слабаком и крестом парил среди ущелья. Настоящий крест, сваренный из металла, лежал перед деревянной часовенькой, выстроенной пограничниками. Призванная укреплять дух и веру солдат, она, пока ещё без креста и купола, тоже ещё лежащего на земле, словно сама нуждалась в защите и потому жалась к часовым, охраняющим склад боеприпасов. Здесь же, на Тусخورое, наискосок от православной часовни, стояла полуразрушенная мусульманская мечеть. На плато, считавшемся неприступным, боевики устроили центр подготовки смертников, и когда десантники всё же высадились в горах и пошли на штурм лагеря, именно мечеть дудаевцы превратили в крепость. Так что не пострадать она не могла.

Теперь они – строящаяся часовня и восстанавливаемая мечеть – находились рядом, и это было хорошим знаком: на земле места хватает любым религиям. Но меня манила дорога, на которую хотели отправить во время плена. Это удивительное чувство – попасть всё же на то место, где мог оказаться в кандалах...

Проехал по ней на армейском грузовике, добравшись до самой крайней заставы – дальше, за заснеженным перевалом, была Грузия. До ней мне не было никакого дела, я желал мира и спокойствия своей земле. Тем более, что случилось та поездка день в день моего освобождения, и я променял Москву, встречу со своими освободителями на этот проезд по Аргунскому ущелью.

Но когда это ещё будет... А тогда, в плену, на двадцать первые сутки пребывания в сплошной темноте вместо ужина нам принесли новость:

– Собирайте постели.

На новое место?

Хозяин принял наши пожитки, вернул одно одеяло.

– Сидите, ждите.

Гадать о будущем бесполезно, выбор может оказаться одинаково что в плюс, что в минус. Можно предположить, что в наших делах что-то продвинулось и нас хотят перебросить поближе к месту обмена. Но можно думать и иначе: с переговорами ничего не получается, находится в селе становится опасно, и нас перебрасывают обратно в лес, в

«волчок».

Кажется, предположили подобное все одновременно, потому что зашевелились, пытаюсь найти себе занятие. Но нет занятий в плену, кроме как сидеть и томиться ожиданием. Сидим почти месяц. Чего ждать? Самому себе и в пустоту столько вопросов уже задано, что ответ, хотя бы односложный, можно выдолбить зубилом на камне. Но то ли зубило потерялось, то ли камень попался слишком крепкий. Нет ответа.

А повезли снова в лес. По плохой дороге это узнаём, по царапающим веткам да комарам, залетевшим в кабину. Кто-то из нас попытался отогнать их от лица, но жёстко клацнул затвор:

– Руки. Не шевелиться!

Но заедают ведь!

Это ещё не заедали. И даже когда машина остановилась и комары уже не на ходу впрыгивали в «уазик», а приходили отведать свежатинок целыми кланами, мы их вспомнили потом как укол перед операцией – всю жизнь бы так жить.

– Вылезаем... Идём. Смелее. Нагнись, нащупай руками лаз, – команда мне, для достоверности подбивают под колени.

Венец выложен из брёвен, вниз ведёт и деревянная лестница. Наверное, никогда не привыкну спокойно лазить в незнакомые ямы с завязанными глазами. Так и кажется, что в них что-то копошится и шевелится.

Яма неглубока, полностью выпрямиться нельзя. Отползаю в сторонку, освобождая место ребятам. Вскоре все трое сидим на корточках, ждём, когда разрешат снять повязки.

– Можно смотреть.

Видим! В квадратном отверстии сквозь ветки нависшего над головами дерева – видим ночное небо. Впервые за месяц.

В люк вталкивают наши пожитки. Подсветили фонариком. Яма – два на два. Пол сырой, словно только недавно сошла вода. Сверху – дубовый накат.

Всё это отмечаем краем глаза. В первую очередь – постелиться, пока есть свет.

– Короче, огня не зажигать, не шуметь.

Боксёр! Снова с нами. Теперь хотя и начнутся расстрелы через каждые пять минут, но между ними слово-другое дополнительно проскочат.

– Полковник, знаешь, что такое огнемёт?

– Знаю.

– Короче, к люку не приближаться. Кто высунется, шарахаем прямо внутрь. Слышите, шакалы воют?

– Да, – первым распознает вой Борис.

– Это хорошо, значит, они здесь не пуганы. Значит, давно не стреляли в этих краях, – размышляет Боксёр. Значит, тоже впервые здесь? – Спать. Утром поговорим.

На люк укладывается деревянная решётка, над ней долго, с сопением, колдуют.

– Короче, решётка у вас на растяжках из гранат. Тронете – взлетите к Аллаху в гости.

– Глубинные, глубинные гранаты ставь, чтобы в клочья всех разнесло, – подаёт совет незнакомый парень.

Сдержанно улыбаюсь: есть глубинные бомбы, но гранат таких ещё не придумали. Или профан, или нагнетает страсти. Но в любом варианте растяжка – дело тонкое. Тот же шакал или кабан пробегут, случайно заденут – и доказывай на небесах, что ты не верблюд

и даже не контрразведчик. Там второй экземпляр «Грозы...» вряд ли найдётся.

– Держите сигареты. Жратву утром посмотрим. Короче, спокойной ночи.

Нет, чеченцы народ всё же удивительный. И в яму на растяжки посадят, и спокойной ночи пожелают – и всё один человек в течение одной минуты.

Потоптались какое-то время вокруг нашего логова, ушли. На ощупь поправляем постели, разбираемся в одеялах. И вот тут-то поняли, что нас опустили не просто вниз. Нас окунули в кишашую комарами прорубь. Миллионы, мириады зудящего зверья, толкаясь и спотыкаясь, пошли на запах, зазывая всё новых и новых знакомых на неожиданный пир.

– Сколько же вас, – Махмуд первым сдёргивает с шеи повязку и начинает её крутить, отгоняя стервецов.

Побыстрее стараемся юркнуть под одеяла, чтобы, как в «волчке», замереть в коконах. Но духота не давала дышать, приоткрываем щёлочки, однако в них с победным зудом тут же устремлялась хвостатая комариная комета. Какое в Чечне, оказывается, враждебное небо: в выси – гудящее от самолётов, ниже – вибрирующее от «вертушек», а над самой макушкой – зудящее от комарья. И ни от кого ждать добра не приходится.

Уснуть невозможно. Встаём с Махмудом, крутим повязками, как на испытательном турбореактивном полигоне, хлестая по щекам, давая под зад, выметывая неожиданных посетителей. Передышка – ровно на секунду. И снова всё вокруг зудит, кусает, сосёт. И не знаешь, то ли старых бить, то ли от новых отбиваться. Борис молодец: поёрзал-поёрзал, но зatih. С одной стороны, мы гоняем вентиляторами воздух, а утром ещё выяснилось, что он сунул нос в какую-то нору в углу, откуда поступал более-менее прохладный воздух. Про то, что из неё может высунуться какая-нибудь тварь, подумалось вяло: авось и не высунется.

Бьёмся с полчищами вдвоём с Махмудом. Тысячу раз раненные, иссякаемые на глазах друг у друга. Сил нет даже ругаться. Несколько раз подходила охрана, протыкала яму узким лучом фонарика:

– Чего не спите?

– Комары заедают.

– Да их здесь море. Сами мучаемся.

Но они-то хоть на поверхности, а мы на глубине! Кому «мокрее»?

В то же время – кому плачемся?

Сморило под утро. Как мечтали о свете, сколько раз представляли встречу с солнцем. Но лишь стало размываться, теряться среди листьев небо, а вместе с ним – комариный столб, мы с Махмудом и свалились в разные углы.

Но Борис в одиночку не выдержал радости встречи с солнцем.

– Эй, уже утро, – прополз он трясогузкой по нашим ногам к люку. – Вверху солнце.

Вверху – да. А к нам в яму, словно боясь подорваться на растяжках, оно опускаться не осмеливалось. Лишь легонько, словно неженка-девушка, притрагивалась воздушной ноженкой к холодной воде, касалось белых проводков, опутавших наш выход на свободу.

– Живы? – поинтересовались сверху охранники. – Давай миску.

Просовываем её в щель, в протянутую руку. Боевика не видно, наверное, без маски и потому не подходит близко. Дисциплина, однако. А мы сами себе напоминаем зверей в зоопарке. Им точно так же в вольер подают еду.

Солнце, подсмотрев за охранником из-за роскошной гривы росшего над нами дуба и убедившись, что в яме ничего страшного нет, любопытства ради всё же заглянуло вниз. Без маски. Правда, на всякий случай решётку убирать не стало, перенесло её тень на дно ямы. В эти светлые кривые квадратики мы и вползли, подставляя лица теплу.

– О, тараканы, – презрительно разочаровалось солнце от увиденного.

Открыли глаза. Нас, как подопытных мышей в клетке – нет, тараканов же! – рассматривали две маски.

– Нет, они будут Нельсонами Манделой, – не согласился другой, отмечая примитивизм напарника.

Подбор псевдонимов на этом не закончился, и в конечном варианте всё выглядело очень даже пристойно: я – Антон Павлович (Чехов им почему-то припомнился), Борис – здесь ума и юмора много не потребовалось – Ельцин, Махмуд – Эсамбаев. Гордости охраны не стало предела:

– Клёво. У нас в тюрюге писатель, президент и танцор.

Неизменной осталась лишь примета. Если звучало: «Полковник, на выход», – это к плохому. Когда имя Чехова или моё – тревог не ожидалось.

Самым большим неудобством оставались комары. Они наполняли жилище часов в десять вечера и буйствовали, устраивая на наших телах оргии, до семи утра.

Конец варварству и наглости положили, догадавшись и осмелившись закрыть люк. Снимаю майку, разрываем её пополам. Площадь – как раз прикрыть отверстие. Часа за полтора до сумерек обкуриваем яму, усиленно работаем вентиляторами – разве только не взлетаем сами – и замуровываемся. Пяток-десяток комаров остаётся, но что они без обходов и охватов, таранов и подмоги той орды, что топала ногами, била крыльями, царапалась и укладывалась слоями по майке сверху.

– От кого прячемся? – не поняла манёвра и охрана.

– От комаров.

– Искусали, что ль?

Что им кусать. Рассмотрев себя на свету, поняли образ с тараканами – усатые и бородатые. И начинающие худеть. Вроде не двигаемся, лежим и спим, а пиджак уже свободно заправляется в брюки. Стало похуже и с едой: утром и вечером – перловка в комбижире. Для моего послеафганского гастрита – первейшее «лакомство». Нужно выбирать: или мучиться от голода, или от боли.

Отказываюсь от ложки. Пью лишь чай. День, второй. Есть хочется всё сильнее, но когда-нибудь должен ведь этот комбижир кончиться!

Кончилось всё – и комбижир, и перловка.

– Жратвы нет.

На нет и суда нет. В ларёк не сбегашь, хотя Махмуд в одном из карманов и нашел заваливавшиеся двадцать тысяч. Мечтаем, что можно на них купить. Борис непреклонен:

– Огурцов. Жёлтых.

– А почему жёлтых?

– Они большие.

Охрана тоже повеселила. Поинтересовалась мимоходом:

– А халва у вас есть?

Глядим на Махмуда: ты что, сбегал-таки в магазин?

– Какая халва? – задаём не менее глупый вопрос.

– Из банок. Не приносили?

Нам много чего не приносили. Первого, например, ни разу не видели. Картошки. Масла. Да тех же яблок, наверное, можно насыпать пол-ямы, лето ведь на дворе...

Принесли кусок халвы. Ещё сутки продержались. А потом на полтора месяца зарядили одни макароны: на воде, без воды, со стручком лука, с кусочками остатков мяса, опять пустые. В непонятные праздники (как их мало даже у мусульман!) – одно мясо. Тарелочка, правда, из детского садика, может быть, даже осведомитель из налоговой полиции выделил её на наши нужды, но запах-то есть.

А лето душное. Майка не только комарам вход перекрыла, но, как теперь уже традиционно для нас, и воздуху. Ребята молят о дожде, я сопротивляюсь.

– Дождь – это вода, сырость. А сырость – болезни. Не о том молим, мужики.

– Ты в самом деле неженка.

Готов остаться в памяти ребят с этим по-детски обидным, особенно для афганца-десантника, мнением о себе, чем потом оказаться правым. И окажусь ведь...

– Да мы в горах во время сенокосов под такими ливнями бывали!

В горах, но не в яме. Мы что, разведём костер, сменим одежду? Короче, я против.

Голосую так, будто от полученных результатов зависит погода.

Но вышло по законам войны: вместо дождя небо обрушило на нас снаряды. Вначале где-то неподалёку обнаружили себя пулемёты. Первую ночь они порезвились-поигрались, словно два-три Козлёночка Военное Копытце по льду процокали. Утром прилетели надсмотрщики-«вертушки», но, наверное, не нашли выбитых копытцами самородков, потому что на следующую ночь из загона выпустили целую стайку более взрослых козлят. А они уж так разрезвились, что приструнить их оказалось возможным лишь артиллерией. Да в нашу сторону.

Первый снаряд, пролетевший над ямой с шипящим присвистом, мгновенно разбудил нас. Не знаю почему, но бросились к туфлям, в первую очередь обулись. А потом не успевали втягиваться головы в плечи от свиста и разрывов, утюживших совсем, рядом лес. Высвечиваем, наивные, самое безопасное место в двухметровом квадрате, замираем ближе к люку. Не из расчёта, а так диктует страх оказаться заживо погребёнными. Головы прикрываем подушками, как будто они могут ослабить удар осколков или падение дубовых брёвен с наката. Опять чистая психология – если убьёт, то не так больно.

– Что они здесь забыли? – Борис, не служивший в армии, больше всего ею и возмущается. Как будто ей самой захотелось вдруг повоевать, и прикатили офицеры с солдатами в Чечню, передёрнули затворы. Но нет, войны развязывают благородненькие на вид, чистенькие и румяные политики, а в грязь, вонь, бинты и стоны бросают людей в погонах. Это лишь кажется, что военные только и умеют командовать. Ещё больше они умеют и вынуждены подчиняться...

– Недолёт, перелёт, недолёт – по своим артиллерия бьёт, – вспоминается по случаю давняя песня.

Свистит новый снаряд, втягиваем головы – но это Махмуд, улегшись вдоль стены и сложив руки на груди, показывает чудеса художественного свиста. Он перестал прыгать к люку – или поняв бесполезность, или устав бороться за жизнь. Знаю сам, что летящий именно в тебя снаряд не услышишь, что свистят те, которые уже пролетели мимо. Но,

настроенный на борьбу, перестраховываюсь. И не хочу, чтобы душа махнула на всё рукой – будь что будет. Не «будь что будет», а держать себя в ситуации...

После повторной бомбежки движения становятся автоматическими. До такой степени, что когда Махмуд случайно падает и бьется спиной о стену, заснувший Борис подхватывается, прыгает к люку и укрывает голову подушкой.

– Эй, вы чего? – спросонья не понимает нашего смеха.

Махмуд для острастки свистит – звук даже в таком исполнении неприятен – и снова бьётся дурачества ради о стенку.

– Ну вас, – машет Борис и укладывается снова. – Плен лучше переспать.

А ежели не спится? Если отлежали все бока? Попросили хоть какую-нибудь работу у охраны, но боевики развели руками:

– Понимаете, вы расстреляны, вас нет. Вас никто никогда не увидит. И вы никого. Вам остаётся только сидеть. Приказ один – расстрелять при попытке к бегству. Всё.

А лес вокруг наполняется жизнью. Чувствуем дым костра. Слышим подъезжающие машины и мотоциклы. Иногда доносятся окрики на русском языке. Значит, неподалеку работают пленные солдаты. Самое верное тому подтверждение – пилы без остановки ёрзают по дубам. Такое возможно лишь под стволом автомата. Кто пилил дрова, тот знает. Наверное, строят новые землянки.

– Чего стал? – кричат уже ближе. – К мамке захотел?

«К мамке», как быстро поняли, – это под расстрел. За меня, я продолжал верить, бьётся налоговая полиция. Ищет ли кто-нибудь их? Каково их матерям? Пытаюсь услышать хоть одно имя, хоть какую-нибудь зацепку: вдруг всё же выйду на свободу и тогда смогу найти родственников пленника.

Бесполезно. Солдаты слишком далеко, а сами они не догадываются дать о себе знать подобным образом. Да и кто сказал, что я выйду быстрее? Особенно когда под вечер вдруг у ямы появилось пять-шесть охранников. Они сняли растяжки, отбросили в сторону решётку и только после этого приказали:

– Полковник, живо.

11

И без «полковника» ясно, что дела мои плохи, – ведут, бьют грудью о стволы деревьев, не предупреждают о ветках, не обводят канавы. Молчат. Вывернуты все ноги, тело горит от ударов, потому что не осталось на нём места, куда бы не достали сапоги. А нутром чую, как копят злобу. Что могло случиться?

Сталкивают в какую-то узкую яму.

– Раздевайся.

Моросит дождик. Махмуд очень просил его. Затопит нашу яму. Но уже без меня. Без меня...

Вырывают из рук солдатскую куртку и пиджак. На рубашке успеваю лишь расстегнуть пуговицы.

– На колени.

Торопятся. Взведены. Но почему перед убийством заставляют раздеваться? А может,

на колени ставят, чтобы я из ямы не увидел местность? Тогда ещё не расстрел...

– Снимай повязку.

И тороплюсь, и боюсь увидеть, перед чем встану лицом. Перед чем?

Боялся не зря. Я – в свежевырытой могиле. Узкой, только недавно открытой – следы от лопат не заветрились. Вот теперь – да, теперь – всё. Единственная отрада, которой, оказывается, можно порадоваться за мгновение до смерти – что тело присыпят землёй, шакалы не растащат его по лесу. Но зато и не найдёт никто никогда. И даже то, что Боксёр предстал передо мной в маске, надежд не прибавляет.

– Руки за голову.

Сзади с двух сторон в затылок утыкаются стволы автоматов. Зачем убивать сразу из двух? Да с такого близкого расстояния? Кровь же и мозги залепят стволы, придётся очищать!

Встряхиваю головой – Господи, о каких проблемах думаю. А небо серое, чужое... Как же плохо умирать вдали от дома! Когда прощаться? Сейчас, сразу, или ещё есть минута? А вдруг пропущу её, последнюю...

– Сначала, короче, мы тебя отделаем так, что родная мать не узнает. И пошлём снимочек твоему начальству.

Замечаю у него на груди «Полароид». Вспоминаю свой фотоаппарат: ну конечно же, они проявили плёнку и нашли кадры воронежских омонцовцев! И это их взбесило.

– А если оно не успокоится, начнём присылать им тебя самого по частям. Кусочками. Сначала пальцы, потом руку, потом ногу. Голову – на десерт.

Он перечисляет очередность расчленения, а я улавливаю просвет в закрывающейся крышке гроба – слова Боксёра «...оно не успокоится...» Дело – в моём начальстве? Не в плёнке?

– Думают, что здесь мёртвые на посту стоят, – продолжает заводиться Боксёр. Зачем-то лепит мне на лицо крестами лейкопластырь. Отходит на шаг, делает снимок. Ждёт, когда я, ещё живой и не избитый, проявлюсь на кадре. Протягивает снимок обратной стороной:

– Ставь дату и распишись.

Ставлю и расписываюсь. Если фото вдруг сохранится, то, по крайней мере, можно будет установить, что до нынешнего дня я был ещё жив. Место смерти не узнают, зато дата станет известна. Последнее земное благо...

– Они думают, что хитрее нас, – не унимается Боксёр. – Только запомни, полковник: чеченцы бывают или плохие, или хитрые. Мы – из хитрых, и нас не переиграешь.

– А в чём хотят переиграть? – спрашиваю напрямую. Чего теперь стесняться? Из могилы можно спрашивать обо всём, ниже неё уже ничего нет.

– Вздумали освободить тебя силой. Прилетела «Альфа», сидит в аэропорту. С генералом. Ну и жук ты, полковник. Всё равно никогда не поверю, что не контрразведчик: генералы за простыми полковниками сами не летают. Но как только они тронутся с места, мы тебя тут же расстреливаем. Понял?

Что понимать? Не от меня зависит, тронется с аэродрома «Альфа» или нет. Но кто придумал силовой вариант? Это же бессмысленно, бесполезно. При такой утечке информации они сами окажутся в ловушке.

– Мы знаем всё, – нервно расхаживает Боксёр по краю могилы. – Мы даже знаем, кто

и как в налоговой полиции Грозного оправдывался перед Москвой за тебя. Знаешь, что сказали? Что ты сам отказался от охраны. Но если эти тронутся...

Останавливается. Ботинки – перед лицом. Одного замаха достаточно, чтобы разmozжить мне голову. Успеть закрыть глаза...

– А всё-таки мне жаль твою морду и почки, русак, – вдруг совершенно неожиданно, когда я уже приготовился к худшему, отпускает сердце из тисков Боксёр. – Пока пиши, – бросает вниз кусок картона: – Пиши: «Умоляю исключить силовой вариант моего освобождения...»

Стыдно начинать с таких слов, я ещё не раздавлен морально, хотя и стою на коленях, но – пишу. Умоляю. Так лучше и для меня, если в самом деле моя жизнь зависит от взведённых моторов машин, и ко всему прочему есть хотя и мельчайшая, но возможность дать понять своим, что боевикам известно об операции и они могут устроить засаду. Интересно получается: спасая себя, оставляю в живых, но крайней мере на данный момент, кого-то из боевиков и «Альфы»...

А её, значит, чечены основательно побаиваются, ежели настолько всполошились. Но скорее всего, на аэродроме в Северном сидит не она, а наши ребята из физзащиты. Впрочем, это одно и то же, почти все они пришли в налоговую полицию из КГБ. Потому трудно поверить в то, что они вот так, наобум, полезут в горы. Без идеальной подготовки и тщательной разведки. Не те ребята. У нас тоже не мёртвые на постах стоят. И моя записка только поможет им.

Так что надо сохранять спокойствие. Насчёт олимпийского, наверное, сложно утверждать, но внутреннее равновесие необходимо. Мы ещё живы, хотя даже не одной ногой, а полностью в могиле.

Стоявшие вокруг автоматчики тем временем роются в карманах, выуживая остатки моей допленной жизни: заколку от галстука, часы, ручку, удостоверение «Советского воина», литературные наброски, которые начал делать на пустых сигаретных пачках с появлением света.

– Это что такое? – изумляется Боксёр, перебирая листки. – Что за записи?

– Делаю для себя. Наблюдения.

А сам торопливо вспоминаю, что писал.

– Это мы сейчас читаем. А почему удостоверение не сдал?

– Не забрали на равнине.

– Изъять всё, – рычит Боксёр охране. – Вывернуть все карманы, ничего не оставлять.

Падает на землю расчёска, отбирают даже пустое портмоне.

– А теперь я с тобой всё же немного разомнусь. Повязку. Встать.

Надеваю повязку. Становлюсь в полный рост. Носок ботинка у охранника массивен. Пусть лучше бьёт по лицу или в грудь, но не в горло.

Ловлю характерный шум: удар Боксёра проходит в каких-то миллиметрах от лица, я чувствую только его холодок. Тренировка? Я – в роли спарринг-партнёра? И неужели опять пронесло? Холодок от близости удара – это ли холодок от смерти? Арктику с экватором не сравнивают. Но сколько же раз человек способен прощаться с жизнью?

Снова запихивают стволами автоматов на дно ямы, заставляют замереть. Лежу, потихоньку выбирая удобное положение. Снова оказывается важным, в какой позе застигнет меня смерть, удобно ли будет мне лежать затем в могиле. Хотя бы прикрыли

чем-нибудь перед тем, как станут сыпать землю...

Лежу несколько минут. Сердце, устав бороться и волноваться за меня, само начинает потихоньку затихать. Это хорошо. Пусть лучше само замрёт, чем его разворотят пули. Оно меня редко подводило при жизни, и сейчас я разрешаю ему умереть раньше себя...

Не дали. И рано обрадовался, что обойдётся без зуботычин. И хотя меня в итоге вытаскивают с того света на божий свет, обратный путь в другую яму оказался значительно дольше. Под руки, судя по голосам, меня подхватила молодёжь, парни лет семнадцати. Эти уж поизголяются!

Дождавшись, когда стихнут в лесу шаги Боксёра, они пираньями впились в меня, по очереди обработав ноги, спину, затылок.

– Полко-овник, мразь, – в точности прокопировали они голос и интонацию Непримиримого.

Бить ослеплённого повязкой, наверное, занятие преинтереснейшее, если смотреть со стороны. Стволы «красавчиков» упёрты в рёбра, а удары летят неизвестно откуда, неизвестно от кого и неизвестно чем – человек в их ожидании весь напряжён, но всё равно не угадывает опасность и запоздало вздрагивает. Счастье, что конвоиры вынуждены держать меня ещё за руку, и замахи не такие широкие.

– Это тебе за твои погоны.

– Это за наши Самашки.

– Гад, пристрелить тебя мало.

Семнадцатилетнему на войне ничего не докажешь. Бесполезно. Если чеченцев постарше с Россией связывает служба в армии, дела по коммерции, то этих – ничто. Побросали школу, научились убивать, и убивать именно русаков, их с нами не связывает уже ничего. Они мечтают только о мщении. День и ночь. Да ещё показывают друг другу свою беспощадность. Хвастают ею. Опасный возраст. И особенно, как ни странно, для самой Чечни, где после войны кому-то нужно будет уметь и работать, строить...

– Мразь!

– Получи, сволочь.

Получаю. По полной программе.

Избитого вталкивают ногами в комариную прорубь, бросают вслед одежду. Вернулся. Под растяжки, в яму, но – вернулся. Стаскиваю с глаз повязку, и стараясь не стонать, укладываюсь на своё место. Махмуд и Борис пока ничего не спрашивают. Медленно отдираю с лица кресты лейкопластыря.

Вопросы сокамерники не задают, давая мне возможность прийти в себя и успокоить дыхание. К тому же решётку наверху не набрасывают, и Борис торопливо ищет повязку: значит, сейчас потащат его. Удерживаю за локоть – это только меня. А растяжки не плетут потому, что ждут сообщений из Грозного. Мои неизвестные спасители, сами того не зная, губят меня. И любой шаг к освобождению окажется шагом к расстрелу. Тогда какой был смысл затевать операцию? Неужели наши этого не понимают?

Оказывается, сидеть под открытым небом намного тревожнее, чем под решёткой. В плену всё должно быть так, как положено.

Сверху снова торопливые шаги. Встаём одновременно с Борисом. Он – в ожидании своей очереди, я – принимать судьбу. Она на таком волоске, что паутина может показаться стальным канатом.

– Телефон не потерял? – вдруг вспоминаю главное и шепчу домашний номер в ухо Махмуду.

В самом начале плена, когда ещё верилось, что водителя могут отпустить, записал ему домашний телефон и попросил запрятать в одежду. Теперь этот клочок бумажки кажется единственной связью с домом. Страшно умирать в неизвестности, быть без вести пропавшим.

– Нет, – скорее машет головой, чем отвечает вслух, Махмуд.

Судя по чавкающим в грязи шагам, идут человек пять. Ещё вчера шагов ждали, потому что вместе с ними могли появиться известия. Теперь, когда новости есть, для нас спасением могла оставаться лишь тишина.

Подожли, завозились с решёткой. Сдержанно переводим дыхание. И хотя её начинают прибивать гвоздями к новым стоякам, и сеть из растяжек плетут более тщательно и плотно, понимаем: сегодня выдёргиваний не предвидится. Яма становится дороже и безопаснее поверхности.

Из рассказа

генерал-майора налоговой полиции В. Колывагина, старшего оперативной группы:

«Мы вылетели в Грозный через месяц после пленения. Могли, конечно, и раньше, но родственники ваших товарищей по несчастью из Кабардино-Балкарии умоляли: не предпринимайте ничего, мы здесь сами всё уладим и договоримся.

Понадеялись. А время уходило. Сергей Николаевич Алмазов, находившийся в командировке, приказал: брать инициативу в свои руки. На следующий день опергруппа из четырёх человек находилась в Чечне.

Армейские контрразведчики, правда, сразу по-дружески пожурили: как только боевики узнают – а они узнают непременно, что освобождением пленника занимается генерал, – мгновенно ужесточат условия. Но менять что-либо было уже поздно.

Конечно, среди нескольких вариантов освобождения прорабатывался и силовой вариант – это нормально и естественно для спецслужбы. Правда, о высадке десанта в горы не могло быть и речи, мы прекрасно понимали, что, пока будем пробиваться к месту заточения, вас десятки раз успеют убить. А вот по агентурным данным мы получили сведения о всех перемещениях. Непримиримого. На него и поглядывали, ведь в случае задержания главаря мы могли диктовать свои условия. Непримиримый взял вас, мы – его. И обмен. Всё по-честному. Красиво для книги?

К сожалению, в жизни всё сложнее и грубее. Лишь приступили к проработке этого, запасного варианта, к нам на стол легло ваше фото с автоматами у головы. И приписка: можете искать тело своего полковника в районе Ханкалы. Если не откажетесь от силового воздействия.

Ясное дело, к подобному сценарию больше не возвращались и как можно шире об этом поведали всем вокруг. А сами сосредоточились на основном варианте – обмен. Задержанный на задержанного. К сожалению, практика войны, и от неё пока никуда не деться. Начали восстанавливать отношения с посредниками, пошатнувшиеся во время столь бурного взрыва эмоций».

Про своё пребывание в могиле стараюсь не вспоминать, хотя звуки наверху ловлю чутье обычного. Высчитываю самое опасное для себя время – перед рассветом. Днём, а тем паче ночью наши на штурм не пойдут. А вот утром, при первом намазе, когда чеченцы расстелят коврики и упадут лбами вниз... По крайней мере, лично я выбрал бы именно эти минуты.

– Неужели ваши не сообразят, что подписывают тебе приговор? – время от времени удивляется Махмуд. – Мужики хоть нормальные у вас в полиции работают?

Пытаюсь пошутить:

– Достаточно посмотреть на меня.

– Э-э, если так мерить, то дело твоё швах, – идёт по лезвию чёрного юмора водитель. Смотрит назидательно и на Бориса: – Мой начальник, будь умным, тоже сидел бы сейчас не здесь, а на Канарах, – совсем по-чеченски раскладывает он наши характеры. – Молись, Николай, на своих.

Молюсь.

Хотя потом, после плена, пришлось узнать и о не совсем приятных моментах своего освобождения. Поначалу вроде все бросились, как говорится, в атаку, но работа по розыску оказалась долгой и нудной. Доходило и до того, что с Расходчикова и Нисифорова пытались требовать письменных объяснений:

– Пусть напишут, чем они занимались столько времени в Чечне и почему до сих пор не вытащили Иванова!

И это в тот момент, когда Люда и Рая – жёны ребят, боялись отойти от телефонов, чтобы не пропустить звонок. Когда они в безысходности и тревоге обнимали во время прогулок с детьми деревья и молились о благополучном исходе.

Самым большим упрёком и для меня оказались слова одного из начальников, после которых я посчитал своим правом написать рапорт с просьбой перевести меня из пресс-службы в другое подразделение:

– Ну что, погулял по Кавказу? И жена тут твоя со слезами бегала по руководству...

Да, говорилось некоторыми направо и налево, будто я сам поехал на Кавказ и меня туда никто не посылал (словно я служил не в правоохранительной системе, а в шарашкиной конторе, где полковники по своей прихоти могут мотаться куда угодно без уведомления руководства). Понять их можно: на всякий случай создавали дистанцию, отгораживались, если что...

Благо, таких проявилось буквально единицы. Но, будь их хотя бы более, чем пальцев на одной руке, итог для меня мог бы стать совсем иным.

Правды и искренности хочу в своей пленной истории, поэтому пишу и эти, самые трудные для меня строки: как и во всяком коллективе, не всё так гладко и идеально шло и среди тех, кто волей случая вынужден был заниматься (или не заниматься) моей судьбой. Впрочем, было бы странным, окажись все как один расходчиковыми и нисифоровыми. Зато по завершении операции и прибытии в Москву генерал-лейтенант Ю. Чичелов скажет им:

– Теперь к вашему брёвнышку столько народу прилепится, что сами удивитесь. Ленин на субботнике позавидует.

Но как бы то ни было, ордена Мужества получают лишь те, кто вышел на острие

события и там оставался до самого конца, – полковники Евгений Расходчиков и Геннадий Нисифоров. Здесь возобладала полная справедливость. Бог всем судья. И мне – в первую очередь. Ибо самый дорогой и совесть для меня документ на сегодняшний день – это список управлений налоговой полиции и суммы денег, которые сослуживцы собрали на моё освобождение, мой выкуп. Расчерченный от руки стандартный листок бумаги перекрывает любые экивоки тех, кто сам из Москвы никогда не выедет, а любой бой станет наблюдать со стороны и твердить об гнусности этого мира.

Только когда это ещё всё будет... Я пока лежу в лесной яме и прислушиваюсь к шагам охранников: убьют или пронесёт?

Вроде пока пронесёт. А про холодок от автоматов у затылка лучше побыстрее забыть. Ну, было. В плену много чего бывает, и что теперь, биться головой о земляные стены своих тюрем? Переживём, не красны девицы.

Как ни странно, получается. Не забыть, конечно, а притупить остроту воспоминаний. Убеждаюсь вновь и вновь: о возможной смерти постоянно думать ни в коем случае нельзя. Принимая её реальность, всё равно надо верить и надеяться на счастливый конец. Это хотя и менее правдоподобно, процентов пять-семь от общего числа, зато намного приятнее. Единственное, надо всё же переговорить с ребятами на тот случай, если вот так неожиданно уведут и не вернусь. Дай Бог им остаться в живых и чтобы они хотя бы на словах передали родным и близким. Только что? Что прошу прощения, что люблю, что остался офицером и в ногах не ползал. Очень хотел жить, строил множество планов... Ох, плохо мне, братцы. Муторно...

Прерываю самого себя: за мыслями, оказывается, тоже необходимы контроль и цензура. Забудем о том, что будет. Живём нынешним днём.

Ребята тоже с замиранием ждут развития событий. Если боевики пойдут на моё убийство, то зачем им лишние свидетели? Хотя, конечно, плевать они хотели на мораль и законы...

Дня два выжидали мы, какая последует реакция и на отправку моего снимка. Ожидание тяжело само по себе, а здесь к тому же лишились атрибутов времени – авторучки и часов. А бывало, что я пускал ими солнечных зайчиков по стенам.

Зато именно в эти дни, на краю жизни и смерти, выработали кодекс чести пленника: всё живое, ползущее из нашей ямы вверх, на волю, не трогать. Даже помогали карабкаться по лестнице жукам, червям. А сколько слов нежности получила божья коровка, неизвестно каким образом оказавшаяся в нашем подземелье. Сначала подержали её на ладонях, потом подняли на решётку – лети, дорогая, тебе здесь делать нечего. Никому здесь делать нечего. Но...

– О, весточка будет, – увидел спускающуюся с небес пушинку Борис.

Подставили ей руки: лишь бы не ушиблась. Потом долго не знали, что с ней делать. Вдруг в самом деле благая весть, а мы её втопчем в землю.

Затем и паутинки ловили, и сороку слушали, а новостей всё не приходило и не приходило. Убедили себя, что о них мы узнаем не по приметам, а со слов Боксёра или Хозяина. Они нам и сороки, и пауки, и пушинки.

А однажды утром нас разбудило мышинное шуршание. Но мы с Махмудом ошиблись. Борис, приноровившийся засыпать часов в шесть вечера и просыпавшийся в пять утра, разложил вокруг себя пустые пачки «LM» и выщипывал из них квадратики. Ньютоном,

озарённым идеей, посмотрел на нас:

– Карты сделаем. Только вот ручки нет.

До Ньютона, конечно, далековато, но ведь и не яблоня над нами растёт – с дуба падают лишь жёлуди.

Но карты, о, карты! Сколько дней и ночей они нам скрасили. Четыре колоды стесали полностью. Из остатков пачек, точнее, их боковушек, сделали затем и домино. Колоды долго прятали, не зная, как отнесётся к подобному охрана: вроде по шариату азартные игры запрещены. Но однажды, после шмона, боевики нашли их, долго рассматривали. И не то что ничего не сказали, а научили из тех же пачек делать ещё и самолётики. Красивейшие МИГи.

– Только смотрите не улетите на них, а то придётся доставать «Стрелу» и сбивать, – предупредил Хозяин.

Жизнь налаживалась по новой – в напряжении, ожидании, но без выдёргиваний на допросы. Наконец появился и довольный Боксёр. И скорее всего тем эффектом, который произвел на мое начальство своей фотографией.

– Всё нормально, полковник. Пожелания есть?

– Попросить можно?

– Просить можно всё что угодно, за это не бьём. А вот дадим или нет, нам решать. Так чего хочешь?

– Авторучку.

Кажется, я что-то перепутал и попросил гранату – столь неподдельно удивился Боксёр. А нам надо рисовать карты. Игральные. Чтобы резаться в дурака, козла и преферанс. Борис сказал, что знает один пасьянс – «Марии Стюарт». Якобы перед казнью та загадала: если пасьянс сложится, то казнь состоится. Сама же надеялась на обратное: сотни раз перед этим раскидывала колоду и никогда не могла сложить её обратно. На тот раз сошлось. Марию увели на эшафот, а на столике остался разложенный пасьянс.

Не авторучку, но стержень принесли. Борис и сделал первые карты – не только нарисовал цифры, а даже, из-за скудности света, подписал: «восемь», «шесть», «туз». Махмуд, светлая душа, сразу признался:

– Мужики, говорю честно: честно играть не умею.

Вроде пошутил парень, но когда повесил Борису четыре шестёрки, да ещё при том, что в это же время у того на руках оставалось ещё две шестёрки, тут мы оценили сказанное.

Вторую и последующие колоды рисовали с учётом первых ошибок – крупнее, а ритуал их создания превращали в праздничный день: отбирали наиболее потрёпанные квадратики, выстраивали их в очередь на замену и иконописно выводили цифры и масть. Конечно, наносился удар и по моим интересам, так как в работу уходила бумага, присмотренная мной для журналистских наблюдений. Но ради карт – дело святое. Они вне конкуренции. Фирма «LM» в этом плане стала для нас авторитетом высшей пробы. Не знаем почему, но чеченским боевикам понравилась именно она, других сигарет они не признавали. А в иные минуты охрана сама подходила к нашему логову и спрашивала:

– У вас сигарет не осталось? Когда подвезут, вернём.

Делились. И надо сказать, вопрос с куревом во время всего плена соблюдался незыблемо: есть не давали, а сигарету бросят. Хоть в конце и «Приму», но тем не менее.

– А ты ещё не начал курить, полковник?

– Нет.

Самому себе сказал после того, как закурил Махмуд: если начну, то значит – сломался.

– Закуришь. У нас все закуривали.

Посмотрим.

Из «LM» сделали и первые календарики. Расчертили клеточки, я в свои дни вписывал, Махмуд вычёркивал. Квадратиков хватило до августа, и восприняли это как знак судьбы: может, к осени наша судьба прояснится?

А насчёт дождика дошли не мои молитвы до Бога, а Махмуда и Бориса до Аллаха. Дождик вначале несмело дотронулся до кроны нашего дуба. Ничего, отповеди не последовало. Дальше – больше. И не гром пока ещё послышался вдаль, а громыхание школьных принадлежностей в ранце разгильдяя-второгодника. И не дождь начался, а пролился лёгкий смех одноклассницы-красавицы, которой парень несмело признался в любви: всё зыбко, играючи...

Но вдруг шаром, клубком, учителем-военруком, громко возвещая о себе, промчался оторвавшийся от дальнего вихря посланный в разведку кусок ветра. Разогнал всех по углам, заставил притаиться, замереть. И, уже на расчищенную, подготовленную площадку хлынул настоящий ливень.

– Наконец-то! – Махмуд даже лёг головой к люку, чтобы ловить лицом капли.

– Только бы не сильный и не надолго, – продолжаю бояться я.

Всё же и меня небеса ещё окончательно не отринули, послушались: гроза побоялась остаться на ночь в горах. Как ни гремела, а ближе к сумеркам незаметно собралась, начала спускаться в долину. Чтобы не заподозрили в трусости, ещё некоторое время оглядывалась и напоминала о себе.

Но было очевидно, что не вернётся. Конечно, лучше приютиться на ночь в каком-нибудь селе и там, под боком у людей, переждать темень и собственную стылость. Всё не так тоскливо.

Однако утром, отлежав бока на чердаках, гроза подкрепились деревенскими сворованными харчами и вернулась на старое место. Назидательно потрепала шевелюры деревьям – ругали, небось, меня? А зря, зря...

Капли быстро пробили крону над нами и принялись хлестать в яму. Пришлось закрывать вход, как от комаров, майкой, прекрасно осознавая, что такой защиты хватит на пять минут.

Меньше. Вода вначале закапала, а затем побежала вниз тонким ручейком. Торопливо допиваем чай и подставляем под струю бутылку.

– Зато комаров нет, – виновато оправдывается Махмуд, перестаравшийся с просьбами к небу.

Поздно. Гром гремит непрерывно – здесь, в горах, он порой без умолку рокочет по пять-семь минут. Уже и банки все заполнили водой, и перелили её в канистру – она стоит полная, и теперь молча смотрим, как расплзается под люком мокрое пятно. Подворачиваем матрацы, забиваясь всё дальше в угол. Перепроверяем коробку спичек – не намочить бы. Хотя что они дадут? Подсветку на мгновение, чтобы убедиться, что с предыдущего раза воды в яме стало ещё больше?

Не играет, не поётся, не разговаривается, не думается. Тупо глядим на дождь.

– Заливает, – говорю охраннику, мокро прибрешему с ужином.

– Ну, дождь сильный.

– Укрыть чем-нибудь люк можно?

– Посмотрю, но, кажется, ничего нет.

Нашёл кусок клеёнки, положил сверху. Звук дождя стал чётче, даже можно определять, когда он сильнее или слабее. Но что толку, если кусок меньше отверстия. Просто вода стекает ещё более целенаправленно. Как бы я сейчас позвонил над любителями дождя, если бы это что-нибудь дало. На полу появляется первая лужа.

– Кажется, протекаем, – обнаружил новое несчастье Махмуд.

Зажгли спичку, осветили накат. Брёвна не справились со своей задачей: впитав первую влагу и больше не имея сил удерживать воду, уронили капли вниз.

Собираем, подтыкаем под себя вещи. Под воду выставляем спины. Главное не намочить подушки и матрасы, потом ведь не высушим.

Если надо будет сушить.

Впереди – беспросветная ночь...

12

В плену я полюбил ночи за то, что они не приносят известий. День, когда ловишь каждый шорох и звук, тянется дольше и тоскливее.

А ночью почтальоны не работают и связные не приезжают. Потому интуитивно начал менять свой сон: легче оказалось сидеть в раздумьях до четырёх утра, а потом спать.

Нынешнюю ночь любимой не назовешь.

– Заливает, – время от времени сообщаем друг другу случившееся.

Протекала уже вся крыша. Один матрац расползся от воды сразу, второй держался на честном слове. И его на руках, как тяжелобольного, у которого внутри переломаны все кости, переносили из угла в угол, где капало меньше всего. Спички всё-таки намокли, и ползали в сплошной темноте и грязи, на ощупь. Но как нельзя в двух метрах укрыться от снарядов, точно так же или ещё даже бесполезнее искать сухое местечко. Воды под ногами становилось всё больше и больше. Вместе с ней и мы коченели всё больше и больше.

Утром нас нашли сидящими на матраце, с накинутыми на головы одеялами. Дно ямы блестело от воды. А сверху всё поливало и поливало.

– Живы?

– Пока да. Но завтра – вряд ли.

– Что, Антон Павлович, болеть вздумал? Врачей нету.

– Мы не думаем болеть. Но – заболеем.

– Что, совсем плохо?

– А вы гляньте. – Наглею, конечно, но выхода нет, завтра нас и в самом деле вынесут вперед ногами.

Вверху стали возиться с решёткой, отодвинули её.

– Отойдите в угол.

Куда отходить! Мы припёрты в угол самой жизнью.

К нам опускаются сапоги с ломтями налипшей грязи. Незнакомый боевик оглядывает расплывшийся, плавающий в воде матрас, потолок. Вода капает ему на фонарь, и это, наверное, убеждает больше, чем наш вид.

– Промокло. А не должно бы.

Этого мы уже не знаем. Знаю другое: охрану нужно додавливать, слова про будущие болезни – это реальность, а не угроза.

– Переведите куда-нибудь, где не протекает.

– Посмотрим, – ничего не обещает конвоир и исчезает на целый день.

– Землянки у всех одинаковые, они сами, небось, сидят в подобных условиях. – Борис, как всегда, стесняется любых просьб: как же, заставляем людей суетиться, отрываем от дел праведных.

– Тогда давай сидеть дальше, – рекомендую ему, но тоном категоричного недружелюбного возражения.

Чувствую, что не сдержался, но бездействие давит на психику ещё больше. Неужели безропотно сидеть и гнить?

Встаю, собираю ватные внутренности, вывалившиеся из лопнувшего живота матраса. Осматриваю накат над собой, щупаю бревна, где мокрее. Начинаю запихивать в щели вату.

– Бесполезно, – усмехается Борис. Натура достаточно тонкая, он почувствовал мой категоричный тон и возвращает шар той же расцветки.

Не спорю. Спор нам не нужен. Нужно чем-то заняться.

Ложкой конопачу щели. Надо мной капать перестало. Знаю, что временно, что вата – не тампоны «Тампакс», но их у нас нет и вряд ли подбросят. У нас есть миллиметровая возможность выжить – её и надо наполнять борьбой.

Махмуд, может быть, впервые не поддержал своего начальника, принялся помогать, отщипывать кусочки ваты. Крутимся на полусогнутых в воде и грязи.

«Тампакс» не «Тампакс», а около часа сидели без грязевых потоков. Движений мало, замерзаем. Приближающаяся ночь, гроза, уже подмокшие закладки, через которые с ещё большей силой вскоре прольётся вода – всё наводит грусть.

Сочувствия дождался от Хозяина. Он появился в новом бушлате, присел:

– Залило?

– Полностью. Может, какие доски есть, уложить хотя бы на воду.

– Да у нас здесь, Николай, особо не разгонишься тоже. Но что-нибудь придумаем.

– Я же говорил, они сами в таких же условиях, – успокоился Борис, дождавшись подтверждения своим словам.

Хорошо, что промолчал про наши старания по заделке щелей. Значит, надо настраиваться коротать ночь на корточках. Если бы можно было хотя бы встать во весь рост, размять полностью затёкшие колени...

– Часа через три переведём в новое место, – появился с самой приятной за последние дни новостью Хозяин. – Потерпите.

Не верим. Но наглею вконец – победителям можно:

– А чайку горячего нет? Доходим...

– А чего не просили? Чай есть. Сейчас принесу.

И когда дрожащими руками обнимали пиалы с остывающим на глазах чаем, Борис

чуть извинился:

– Он тебя уважает, Николай. Заметил: обращается только к тебе и по имени. Наверное, ты интуитивно был прав, когда каждую ночь просился в туалет и старался разговаривать. Они к тебе привыкли.

Да, надо или нет, но я просился наверх каждую ночь. Больше для того, чтобы размять ноги, подышать пару минут свежим воздухом и, если удастся, хоть что-нибудь прояснить в наших судьбах. Кто-то незнакомый из охраны однажды позвнил:

– Что, полковник, коммерсанты запрягли, заставляют парашу выносить?

Меня не заставишь. Я сам карабкаюсь к свету. И не имеет значения, что на данный момент этот путь надо идти с общей «девочкой». Может статься, все усилия и уловки напрасны. А вдруг нет?

О том, что вылез вот так без особой нужды из ямы, пожалел единственный раз, когда охрана оказалась совсем незнакомой. «Свои» брали за рукав и вели в сторону, здесь же стали командовать:

– Правее, три шага вперёд. Левее, теперь шире шаг.

Со всего размаха врезаюсь в ствол дерева. Хохот.

– Правее. Кругом. Быстрее. Я сказал, быстрее, – клацание затвора и удар прикладом в спину.

Лечу вперёд, бьюсь лицом в ствол дерева. Останавливаюсь. Больше не тронусь с места.

– Два шага влево. Влево, я сказал!

Мгновение сдерживаю себя, успокаиваюсь. И – подчиняюсь: никому ничего не докажу. Царапины на лице заживут, а радоваться можно тому, что побольше пробуду на свежем воздухе и получше разомнусь. Охрана бесправна, а новички тем более ничего не смогут со мной поделать.

Но иду теперь медленно, несмотря на то, что непрерывно торопят. Поняв, что большего не добьются, боевики хватают за рукав и бросают грудью на какой-то колючий куст. Ещё более неприятно, кстати, чем на ствол дерева.

Когда возвращаюсь «домой», Борис и Махмуд, слышавшие издевательства, от прогулки отказываются:

– Нам сегодня не нужно.

– Тогда сидите...

Сидим. Дождь высидели. Три часа наверняка прошли, на нас ни одной сухой нитки. Как жить здесь дальше – не представляю.

...Ночью, когда подумали, что нас забыли, в очередной раз появился Хозяин с группой боевиков:

– Собирайте всё, что осталось, и по одному наверх.

Остались одни подушки. Впервые иду в новый каземат последним. Оглядываю полузатопленную, осиротевшую без нас яму. Не знаю, на сколько покидаем её – может, только пересидеть дожди, а может, и навсегда. Тайно в душе надеялись, что именно из неё выйдем на свободу, но, видать, не суждено. А может, дождь помешал, пошёл раньше времени.

В любом случае прощай, лесная комариная прорубь. Ты дала свет и тем останешься памятна. А плохое пусть забудется, выживать надо на положительном. Какая ты оказалась

по счёту? Пятая. Сколько ждёт впереди? Куда поведут на сей раз?

В «волчок». Нас возвращали в него! Это стало окончательно ясно, когда впереди обругали:

– Что ты шарить руками? Это ступени, ногами щупай.

– Я думал, лаз, – оправдательный голос Бориса.

– Плохо думаешь, а ещё банкир. Да не пригибайся ты, иди в полный рост.

Земляные ступени – спуск в траншею. Опять ступени. Знакомый, пугающий запах плесени и подземелья. Плечо задевает решетчатую дверь. Та скрипит: мол, зачем идёшь? Зайдёшь – захлопну.

– Пришли. Можно разувать глаза.

Хоромы. Подземный дворец, обшитый солдатскими одеялами. Дубовые столбы-колонны вдоль стен. В два человеческих роста высота. Двухъярусные нары. На них стоит неизменная керосиновая лампа. Язычок пламени даже издали кажется тёплым. Сначала он традиционно коптил, но Хозяин убавил фитиль, и пламя проснулось в серединке, задышало, легко волнуясь, словно тронутая жёлтым загаром девичья грудь. Иногда её стрелой Амура пронзала мошкара, заставляя на миг тревожиться. Но уже в следующее мгновение мягкий жёлтый свет восстанавливал безмятежное женское дыхание и достоинство. А чёрные горы обгоревших дыхателей мы потом по утрам счищали с лампы щепочками.

А может, и не женские груди вовсе напоминало пламя, а, допустим, две горные вершины Эльбруса. Или пик Коммунизма и пик Победы. Кому что нравится, тот пусть то и штурмует. Нам, просидевшим в погребках и землянках более двух месяцев, хотелось увидеть именно первое, более житейское. Живут же где-то люди...

Остаться бы здесь. И чёрт с ним, пусть даже ради этого нас освободят на неделю позже. Жертвуем.

– Располагайтесь.

А «волчок»? Его не будет? Тогда зачем размахивали неделями?

– Лучшую землянку вам отдаем, – гордо сообщил Хозяин.

Впервые видим его в полный рост. Высокий, немного угловатый. Неизменная маска. Увидим ли когда-нибудь его лицо? Если по честному, оно вовек не нужно, но, наверное, человеку всегда будет свойственно заглядывать в запретное. Хотя, когда запретным становятся лица, имена – это уже не война. Это её болезни. Краснуха, инсульт, геморрой – война за тысячи лет выработала для себя определённые температуру, давление, цвет лица, приучила к их неизбежной данности людей: раз я существую, то привыкайте ко мне такой.

И люди привыкают. К первому, второму, третьему. Привыкнем, никуда не денемся, и к захвату заложников, торговле людьми. Война манишек не носит...

– Николай, смотри сюда, – Хозяин светит фонариком под нары. – Ты человек военный, должен понимать, чем это может грозить.

По ровным рядам противотанковых и противопехотных мин шугнулись от света стайки мышей. Не подорвались, вырвались с минного поля. А под зелёными бочками этих кругляшей спала такая же длинная, как луч фонарика, «Стрела-М» – грознейшее оружие против самолётов. В углу сиротливо стоял мешок с противогазами, свесив на серый лоб перехваченный проволокой чуб.

– Всё ясно: не трогать, – успокаиваю Хозяина.

– Мы не стали это выносить, да и некуда. Но если что, сам понимаешь: полетят одни подмётки.

– По-моему, и подмёток не будет.

– Ты прав, подмёток тоже не будет.

13

Какое счастье – лежать, разбросав руки. Места – море. А не хочешь лежать – можно и не сидеть, сгорбившись, а – ходить! Во дворце целых четыре шага в длину и два в ширину. Расстояние от Москвы до Пекина!

Мгновенно пополняется и песенный репертуар:

Старость меня дома не застанет,

Я в дороге, я в пути...

– В плену ты, Коля, – обрывает и мелодию, и мой бег до Пекина Махмуд.

Знаю. Сегодня – два месяца. Очередная дата. Грустно, можно выть, но можно и радоваться – мы же не в «волчке»!

Скоро осень. За окнами август,

От дождя потемнели кусты...

Окон нет, смотрим сквозь дверь-решётку на изгиб траншеи, нависшие над ней кусты. Света меньше, чем в предыдущей норе, но всё равно значительно больше, чем в деревенском погребе. Всё познается в сравнении. Что-то даёт и лампа. Нет, жить можно. Жить нужно.

Я вернусь к тебе, Россия.

Знаю, помнишь ты о сыне.

Брови русы, очи сини:

Я вернусь к тебе, я вернусь к тебе,

Я вернусь к тебе, Россия!

Устроились быстро: когда есть где крутиться, это ли проблема? Пока не знаем, чем «порадует» очередное убежище, но явных угроз не просматривается. Хотя убеждены, что такого не может быть по жизни, во дворцах всегда существуют потайные двери и привидения. А уж вседозволенность шутов и безукоризненная исполнительность палачей – лебединая песнь любого замка.

Пока перетряхиваем, перебираем, просеиваем сквозь пальцы мусор, сваленный в углу землянки. Успех превзошел все ожидания, находки оказались уникальными: булавка, осколок зеркала, кусок медной проволоки, бечёвка, десяток гвоздей, пустая бутылка и скомканная простыня. Её тут же пустили на салфетку под посуду, полотенце и новую повязку для Махмуда. Нашлось применение и для проволоки, сделавшейся одновременно

и иглой, и ниткой: тщательно заштопали ею дыры в носках. А когда-то думали, вот сносим их – и плен закончится. Опять нестыковка по времени. Или, скорее всего, в плену действуют законы, в которых желаниям пленников параграфы не предусмотрены.

В зеркальце, наклонившись к лампе, сначала долго рассматривали самих себя, бородатых и бледных. Затем нашли ему более практическое занятие: острыми краями стачивать ногти. Не осталась без внимания и бутылка.

– Сейчас лампу сделаем, – торжественнее, чем Борис насчёт карт, поведал Махмуд. – Но придётся жертвовать чаем.

Вылил его в бутылку – наполнилась до половины.

– А надо полностью, под горлышко.

Где брать воду? Посмотрели на «девочку». Беру её за шиворот, доливаю бутылку. Водитель вздыхает и начинает осторожно всовывать в горлышко безымянный палец. Затем резко вырывает его обратно. С бутылкой никаких превращений не произошло, зато новоявленный Алладин дует на посиневший от усилий палец. Может, положил бы его, как в детстве, в рот, чтобы успокоить боль, но помнит, в какой раствор окунал. Настырно подставляет мне будущую лампу – эксперимент не окончен, опустошай «девочку» дальше.

На этот раз после резкого рывка чайный «коктейль» выбивает дно – неровно, обрушивая остатки стекла вместе с собой на пол. Ерунда, закопаем, одну ложку выделили на земляные работы.

От полотенца отрываем полоску, тщательно протираем стекло. Ставим бездонную бутылку на покатые плечи лампы.

Впрочем, нет, это Махмуд надел на острые грудки пламени стеклянный лифчик. Нам-то что, а вот дыхатели теперь бились о стекло, не достигая жёлтого трепетного тельца. И – странное дело – то ли без их самоотверженного самосожжения, то ли почувствовав душную, плохо вымытую, треснувшую стеклянную одежду, поникли и грудки. Их острые пирамидки притупились, ложбинка посредине сгладилась, и через какое-то время вместо Эльбруса, пиков Коммунизма и Победы, вместо загорелой женской груди образовалась покатая, сгорбленная спина пожелтевшей от времени старухи. Или хребет таких же древних Уральских гор.

Стекло особого света не давало, приятное видение исчезло, а что вроде бы меньше копоты, так то мелочь. Всё мелочь по сравнению со свободой.

А она и не думала просматриваться через решётку, закрытую на цепь, подпёртую хорошим дрыном и вновь опутанную белой паутиной растяжек. Лишь ветер играл облаком-заслонкой, открывая и закрывая солнечный блик на стенке траншеи.

Единственное разнообразие, появившееся здесь, – баня.

– Почему мыться не проситесь? – впервые без маски подошёл один из боевиков. Зелёный берет лихо заломлен, аккуратная бородка – вылитый Че Гевара. – Прикинь, сколько без мытья.

Мы вообще-то и на волю не просимся. Водой, которая есть, моем через день ноги, да и то не всю ступню полностью, а лишь пальцы.

– Туда-сюда, движение. Ещё вшей заведёте нам. Ночью баня.

Мимо костров, хихикающих боевиков, положив друг другу на плечи руки, слепцами-поводырями идём по тропам и траншеям вниз. Слышим журчание воды.

– Снимай повязки. Давайте, мойтесь.

Вечер. Мы – на дне оврага, по которому бежит речка. По берегам – вкруговую автоматчики. На деревянном мостке, окунувшем нос в воду, кусок хозяйственного мыла.

– Можете и постираться, туда-сюда. Только давайте быстрее, сделайте движение.

Вода холодная, родниковая. Просчитываю минусы: из холода, не обтёртыми, возвращаться в земляную стылость. Да ещё без рубах, если стирать. И с учётом того, что всё лето не видели света, не говоря уже о витаминах.

– Смелей, полковник. Прикинь, мы по два-три раза в неделю моемся, не считая того, что подмываемся перед каждым намазом. К Аллаху нужно обращаться чистым, туда-сюда.

Я, что ль, против? Это же прекрасно: после баньки, даже такой, – да к костерку, за чашку горячего чая...

Окунаюсь быстро, вытираюсь пусть и грязным бельем, но насухо. Ребята плещутся дольше. И хотя последним из реки буквально выуживаем Махмуда, первым заболевает Борис. Он вначале пожаловался на ноги, а потом его стало ломить всего. Единственное, чем могли помочь, – сняли с себя и укрыли дополнительным одеялом. И каждый раз капали на мозги охране: Борис болен, болен, болен. Те сочувственно разводили руками: за собой нужно следить самим, туда-сюда, движение. Правда, один раз принесли дополнительно еду днём, а затем передали и несколько таблеток анальгина.

Сам Борис переносил жар и ломоту стоически, стонал лишь во сне. Днём же приговаривал:

– Простуду когда лечат, она заканчивается через семь дней. А если не лечить, то сама проходит через неделю.

Но какой же тяжкой оказалась эта неделя! И я, наверняка и Махмуд невольно «примеряли» болезнь на себя: как станет крутить, в случае чего, нас? Хватит выдержки, элементарных сил перенести простуду? Какими осложнениями она потом аукнется?

Перед ужином слегка загибаю ручки ложек: выгнутую протягиваю Борису, вогнутую оставляю себе, волнообразная достается водителю.

– Это твоя чашка, – отделяю одну пиалушку для больного.

До сегодняшнего дня внимания на личные вещи особо не обращали, да в темноте не очень-то и разберёшься с этим, но сегодня... Нам болеть нельзя.

– Гигиена, – зачем-то оправдываюсь.

Только бы Борис ничего не подумал лишнего. С Махмудом легче – тому приказал в юморной форме, и проблем нет. Борис намного тоньше, чувствует глубже, воспринимает острее. Неужели болезнь будет камнем преткновения и вот так незаметно станет делить нас, раздвигать по углам? Нежелательно. Да не то что нежелательно – недопустимо подобное.

– Всё правильно, – неожиданно сразу поддерживает моё решение Борис и сам отодвигает свою посуду подальше от нашей. – посплю пока.

Не спит. То мелко трясётся от озноба, то постанывает. Встаю, разминаюсь. Умоляю и заклинаю: «Не болеть, не болеть, не болеть...»

Труднее оказалась болезнь Махмуда, свалившая его сразу после второй подобной бани. И хотя нас вывели купаться днём, вода от этого теплее не стала. Борис после болезни уже осторожничал с водой, я учился на чужих ошибках, и мы с ним обмылись с берега. Водитель же запрыгнул в реку, да ещё вдобавок вздумал постираться. Долго вертел, оглядывая со всех сторон, свои плавки, потом понюхал их, скорчил гримасу и забросил

как можно дальше на противоположный берег.

А вечером не встал на ужин.

– Эй, перестань. Давай кушай, – требовал от него невозможного Борис.

Не приведи Господь никому болеть вдаль от дома. А в неволе – тем паче. С болезнью борешься только сам, вся надежда только на организм. Выдержит? Справится?

А простуда, словно потренировавшись на Борисе и недовольная отрицательным для себя результатом, решила добавить дозу. Более всего Махмуд жаловался на грудь, и, взяв на себя роль медбрата, я объявил Хозяину:

– У него начинается воспаление лёгких.

Был так категоричен, потому что знал: лёгкие находятся именно там.

– Мы можем его потерять.

Хозяин вошел в землянку, пощупал горячий лоб больного. Затем взял кусок бечёвки, замерил расстояние по голове от уха до уха. Этот же полукруг пропустил под подбородок. Длина оказалась разной, и, сжав голову водителя, охранник принялся сдавливать, уминать «лишнее» около ушей. Мы со страхом смотрели на его ручищи.

– Меня так дед лечил, – авторитетно успокоил боевик.

Ну, если дед и до сих пор жив... Правда, Махмуд больше на голову при нём не жаловался.

– Прикинь: есть два шприца и пенициллина на три укола, – забеспокоился и сообщил о своей заначке Че Гевара. – Будете колоться? Туда-сюда, движение создадите.

– Да, – сразу ответил я за Махмуда.

– А ты умеешь? подозрительно глянул тот на меня.

– Нет. Но всё равно будем.

– Я не хочу становиться подопытным, – натянул одеяло водитель.

– Несите, – попросил я охранника. – И, если есть, одеколон или спирт. И кусочек ваты.

Мои познания в медицине по сравнению с остальными, как я понял, позволяли ходить мне если уж не профессором, то кандидатом наук – как минимум. А ведь и навыки в самом деле имелись, служба в ВДВ заставила относиться к медицине серьёзно. Особенно в начале восьмидесятых, когда служил в десантной дивизии в Каунасе и нас «посадили на парашюты», то есть подняли по тревоге в связи с событиями в Польше. Разведрота получила польскую форму, все остальные – боеприпасы, определялись пять аэродромов, на которые планировалось приземление дивизии.

Афганистан в это время шёл полным ходом, и больше всего тревогу били медики: наши солдаты умирают там не потому, что получают тяжёлые ранения, а оттого, что боятся вида крови и не умеют перевязывать друг друга.

Тревога дошла до командования десантных войск, и нас, будущих «поляков», повели в первую очередь не на стрельбы и вождение, а на медицинскую подготовку. Что солдаты в Афгане – у нас, офицеров, она вызвала шок, когда начмед, подполковник Александр Иванович Сердцев, распотрошил индивидуальный пакет и попросил объяснить назначение каждой его части. Особенно булавки, почему-то оказавшейся ржавой.

Не сумели, не угадали. Не то что логики не хватало, а элементарного воображения. А Сердцеву бальзам на его эскулапскую душу. Поднял булавку, как знамя с засохшими пятнами крови на баррикадах:

– Когда осколок или пуля попадают в живот, человека можно положить только на спину. Согласны? От болевого шока мышцы расслабляются, и мы умираем не от самого ранения, а от удушья – язык западает в горло и... – Сердцев посмотрел на притихший зал. – Значит, для чего нужна булавка?

Мы, имевшие сотни парашютных прыжков со всех типов самолётов, днём и ночью, на лес и воду, прошедшие десятки учений, передёрнулись от страха. Неужели...

– Правильно – не пощадил нас начмед и вслух произнёс то, о чём и подумать-то боялись. – Цепляете булавкой язык к воротнику гимнастёрки и после этого можете оставлять раненого одного.

Но и это оказалось ещё не все. У каждой профессии есть тонкости, и подполковник с удовольствием поделился ими:

– Только не прокалывайте язык вдоль, по бороздке, хотя это и самое безболезненное место. Если дороги плохие и машину с раненым будет трясти, язык может разорваться на две половинки. Как у змеи. Прокалывайте его поперёк.

Все откровенно передёрнулись и, наверное, пожелали себе чего угодно, но только не ранения в живот.

Благо, ума хватило не вводить войска в Польшу. Скорее всего, её спас Афганистан: и доказывать никому не требовалось, что две горячих точки страна не потянет. Так что поляки остались со своей «Солидарностью» и Лехом Валенсой, а вместо наших офицеров по Варшаве ныне разгуливают натовские (это к вопросу о польской независимости), мы не тронулись из Каунаса (правда, потом все офицеры прошли через Афганистан), а медицину вот вспомнил в чеченском подземелье. Тут же даю себе зарок. Если первую, афганскую войну прошёл нормально, на второй, здесь, попал в плен, то на третьей меня убьют. Значит, на третью я просто не поеду. Юмора хватает перепрыгнуть цепочку – поеду сразу на четвёртую. Если выберусь, конечно, отсюда...

– Не дамся, – запротестовал Махмуд, когда принесли шприц и одеколон. – Ты хоть раз в жизни делал уколы?

– Сыну. Лет пятнадцать назад. Ложись.

– Я стоя.

– А стоя я не могу.

– А у меня плавок нет, – выдал последний аргумент – так сдают противнику последний редут перед поражением, гордо и с сожалением, – Махмуд.

Да разве можно остановить наступающих, когда неприятель хил и болен! И втайне всё же надеется на облегчение.

Но, наверно, и в самом деле уколол неумело, потому что водитель застонал:

– Больно же!

– Ему надо потеть и больше пить! – безапелляционно говорю Хозяину и Че Геваре: уж если медик – то медик, а их слушаются все.

И ведь послушались. Принесли тёплое одеяло, сменную футболку и чай. Укутали Махмуда с головой – грей себя сам и выкарабкивайся. Очередные уколы любви и уважения с его стороны ко мне не прибавили, но вроде начал принимать их как неизбежность. А в конце лечебного курса уже не охал и ахал, а задумался о будущем: шприцем набрал из пузырька одеколон и перелил его в освободившийся флакончик пенициллина. На всякий случай. Так что благодаря болезни водителя наше хозяйство

пополнилось двумя иглами, пузырьком и одеколоном. А насчёт сроков болезни прав оказался Борис: когда лечишься – проходит за семь дней, пускаешь на самотёк – выкинь неделю. Правда, Махмуда мы продержали на «больничном» чуть дольше, выпрашивая под его болезнь дополнительный чай.

А вот мне не только с горячим чаем, но и с горячей пищей пришлось расстаться до конца плена. Зубная боль словно пульсировала у нас по кругу, ей как бы некуда было деться из ямы, и поэтому переходила от одного к другому. Борис переболел ими быстро, так что следом подошла моя очередь. Язык тут же отыскал дырку в зубе мудрости, и с этого момента, как ни мёрз и ни голодал, берёт его пуще глаза. Даже и тёплую воду пил, как голубь, наклонив голову набок.

А время застывало. Мы раскачивали его кисельные берега, расталкивали взглядами цифры на календарике, дробили сном. Неожиданно вдруг заметили, что к нам стали лучше относиться. Конечно же, всё связали с новой надеждой на освобождение, но проза жизни всегда подрубала крылья поэтическим мечтам. Как узнали уже потом, в соседнем отряде захватили в заложники коммерсанта, и он то ли попросил, то ли пригрозил:

– Только не бейте, за меня могут заплатить хороший выкуп.

Улыбнулись:

– И бить будем, и выкуп возьмём.

Случайного удара сапогом в висок хватило, чтобы коммерсант лишился жизни, а боевики – выкупа.

Вот так невольно, на чужом несчастье, и выживали – от нас тут же убрали всех «бешеных», которые били Бориса только за то, что он «Ельцин», а уж меня – и просто так. Потому что скучно. И что полковник, русак.

К сожалению, всё это не убавляло времени, не заставляло его вертеться быстрее. Часы и минуты мы объявили главным своим врагом. Вернее, сначала я объявил водителю, что отныне он старший в группе, то есть Махмуд-апа. Тот в ответном слове превознёс меня в «Блиндаж-баши», но как пели по вечерам у костра под расстроенную гитару боевики, так и продолжали тянуть вместе с бесконечной песней – проклятием России – и наш пленный мотив.

И так же нескончаемо шли дожди, непрерывно работал «Град». Иногда ради интереса ждали: кто быстрее устанет – природа или творение рук человеческих – ракетная установка с внушительным погодным названием?

Первой уставала, сдавалась природа. И тогда солнце, уже слабеющее под осень, с усилием раздвигало в тучах щель и любопытно оглядывало землю: что новенького произошло без меня в чеченской войне?

О новом узнали почти сразу.

– Грозный взяли.

– Когда?

– Неделю назад.

– Так «Град» бьёт по городу?

– По нему. Но Басаев сказал, что теперь никогда не уйдёт из него.

Лично мне стало грустно и совестно. Не принимал эту войну с самого начала, в плену научился её ненавидеть, а всё равно кольнуло: сдать город! Армия, Россия не смогли удержать перед боевиками один город! Или опять идут политические игрища и Грозный

не думали удерживать?

Бедные солдаты. Несчастные жители. Клубок подлости и глупости, отчаяния и безнадежности, горя и самоотверженности...

Вспомнилось здание с раненым коlobком. После недельной бомбёжки вряд ли осталась в живых даже лиса, будь она хоть трижды хитрой. А что с жителями? И в конце концов, а точнее, перво-наперво: кто станет заниматься нами, если из Грозного ушли войска и власть?

– Что, полковник, грустишь? Жалеешь, что Грозный потерял?

Соврал:

– Да нет, о своём.

– Мы тоже думаем о своём: все блокпосты ваши окружены, вот решаем, что с ними делать. Или голодом морить, или расстрелять, или выпустить...

Из рассказа

полковника налоговой полиции Е. Расходчикова:

«Когда город отошёл к боевикам, а слухи о взятии Грозного ходили за неделю до штурма, у нас оборвались все связи и наработки по вашему освобождению. Ведь действовали-то в контакте с местной ФСБ, их посредниками. Ничего не оставалось делать, как возвращаться назад, в Москву. И начинать всё сначала.

Только и Москва не могла ответить на сотни вопросов, и главные из них – где вы, у кого и, вообще – живы ли? И азарт уже пошёл, заработало чисто профессиональное самолюбие: неужели не вытащим?

Где-то через неделю прошусь на прием к Алмазову: “Сергей Николаевич, надо лететь обратно в Чечню. Из Москвы мы его не вытащим. Разрешите?” Вижу, что волнуется, любой исход, а печальный в первую очередь, ляжет ведь на его плечи. “Кого хотите взять с собой?” – “Геннадия Нисифорова” – “Он в командировке в Тамбове”. – “Завтра утром будет здесь, вечером вылетим”. Не позавидуешь начальникам, когда им приходится отдавать приказы, связанные с риском для подчинённых. “Давайте, действуйте. Разрешаю принимать любое решение, исходя из ситуации. Только осторожнее. Если ещё пропадёте и вы...”

Так снова оказались с Геннадием в Чечне. Мы её прошли с самого начала боевых действий, знали друг друга настолько, что на рискованные мероприятия, «стрелки» – встречи с бандитами – ходили по одному: если что-то случится, допустим, со мной, Гена будет знать, каким образом и где меня вытаскивать. Точно так же он надеялся на меня.

В Грозный дорожка нам, конечно, оказалась закрыта. Стали подбираться к командирам отрядов самостоятельно, без посредников, которые частенько ради своей выгоды искажали информацию, задерживали её. Ходили, конечно, в рванье, чтобы не привлекать особого внимания, ни о каких средствах связи или охране не могло быть и речи. Тем не менее по старым связям удалось выйти на главаря, который вас захватил. Он представился Рамзаном. С ехидцей посмотрел на меня:

– А ты не из налоговой полиции. Наверняка из ФСБ.

– Да, я бывший комитетчик. Более того, из «Альфы». Ну и что из этого?

– Вот тебя бы взять. Мечта жизни.

- Но это нужно ещё попробовать.
- Ладно, давай попробуем поработать по Иванову. Ты уважаешь мои интересы, я попробую уважить ваши.
- Но Иванов жив? Мы не пустышку тянем?
- Жив. Даже что-то пишет, недавно листки отобрали.
- Мне нужно подтверждение, что он жив на сегодняшний день. И с этого момента начнём работу.
- Будет тебе подтверждение. Но только он давно уже не у меня».

Заметил: я перестал подходить к двери. Слишком тяжело возвращаться от неё обратно в темноту. Я пресытился ею, а переполняясь, привыкаю. И больше уже раздражает не она, а недоступный свет, проблески неба сквозь листву, паутинные компакт-диски, лазерно отсвечивающие на мокром солнце. Мы становились с ног на голову и привыкали к этой позе. И последний штрих: раньше думал – когда выйду, а теперь – лишь бы выйти...

В блиндаже намного глуше все звуки, и постепенно отучились вслушиваться и в жизнь за решёткой. Зато, выставляя однажды на салфетку пиалушки, вдруг замер: на всех трёх донышках чернели цифры «13». Грешным делом подумал на Махмуда: парень готовит сюрприз. Но краска оказалась заводской.

– Мужики, – приглашаю на смотрины.

Они глядят на цифры и мысленно решают, как отнестись к открытию. Пиалы нам выдали в деревне, перед самым началом послевыборной войны. И после них накатилось...

Определяюсь первым:

– Я из своей больше не пью.

– Ерунда, – пожимает плечами Махмуд. – У нас в семье тринадцать детей. И ничего.

– А у меня дочь родилась тринадцатого, – не признаёт примету и Борис.

Больше не заостряем на этом внимание, расходимся по своим углам. Мне что, я пью остывший чай, а для него и стеклянная банка сгодится. А чашке, да ещё с таким номером, нашлось лучшее применение.

Поначалу нас донимали бурундуки, бегающие вниз головой по потолку и прибитым одеялам. Кроме топота и писка надоедали тем, что воровали остатки хлеба. Его в конце концов начали подвязывать на проволоке, но нашествие ожидалось с другой стороны. Мышей.

– Махмуд, ты выпускал кого наших? – специально интересуюсь, глядя, как по траншее к решетке движется рывками серый комочек.

– Нет.

– Кыш, – пугаю непрошенную гостью. – У нас своих полно.

Дважды ползли по траншее в нашу сторону змеи. Память мгновенно выдала всё, что знал о них: они глухи, понимают только постукивание, на место гибели детёныша обязательно приползёт мать.

Стучу по стене, заставляю змей изогнуться и ползти обратно. А в глазах долго стоит

лоснящаяся узкая лента, и это приучает осторожнее подходить к двери, тщательно перетряхивать перед сном постель, жертвовать одним одеялом и закупоривать им на ночь дверь.

Принялись донимать и жабы. Первым заорал лежавший с краю Махмуд, когда огромная жирная раскоряка прыгнула со второго яруса ему на лоб. Тут и пригодилась поначалу пиала. Накрываю ею лягушек, подсовываю под них картон, несую добычу к двери, встряхиваю в щель. Но лягушкам легче вернуться обратно, чем скакать по ступеням вверх, и некоторых приходится ловить по нескольку раз. Самых настырных и жирных трясу в западне, вправляя мозги. Вроде доходит, в какую сторону скакать.

А вот мыши... Эти оказались наглее, чем интердевочки с русскими клиентами.

В итоге картина.

Я, полковник налоговой полиции, первый вице-президент Международной ассоциации писателей баталистов и маринистов, лауреат литературных премий имени Н. Островского и М. Булгакова, кавалер ордена «За службу Родине» III степени и медали «За отвагу», писатель, бывший главный редактор журнала «Советский воин», – а теперь просто пленный, ловлю мышей.

В руках у меня верёвка, связанная из тряпичных лоскутков. Она тянется к палочке, на которой одним краем стоит пиала. Под ней – кусочек хлеба.

Так вообще-то ловят птиц, это – силоч. Но мыши начали устраивать такой кавардак, ночью преспокойно бегают по головам, залезают под одеяло, что становится ясно: выживем или мы, или они. Бурундуки со своими выходками кажутся мелкими дошколятами.

В блиндаже достаточно темно, но чёрно-серые комочки теней, приближающиеся к приманке, отмечаются сразу. Не успела первая мышь просунуть голову под пиалу, дёргаю верёвку. Мой тринадцатый номер подскакивает, мышь отпрыгивает – эксперимент не удался. Анализирую ошибки: надо уменьшить высоту подставки, а верёвку привязывать не за середину, а за самый низ палки. Вновь замираю.

Чёрта с два! Мышь успевает выбить лапой хлеб и вместе с ним скрывается под нарами, в минном поле. Беру кусок побольше, запихиваю в самую глубину мышеловки. Ещё несколько минут в ожидании – и удача!

Вытащить из-под пиалы первую «рыбку» помогает Махмуд. Он вертит по кругу пиалу, а я высматриваю, где мелькнёт хвост. За него-то и извлекаю на свет божий конкурента на блиндаж. Мышь висит обречённо, даже не сопротивляется и не борется за жизнь. А может, не верит, что нашёлся кто-то, кто способен противостоять их массовому набегу.

Борис категорически против насилия.

– Будешь убивать?

– А что предлагаешь ты?

Кажется, он готов терпеть и то, что ему станут грызть пальцы и уши.

Берегу его нервы, да и сам вроде не изверг: первую добычу опускаю в банку живьём. Через минуту пожалел о сделанном: мышь беспрерывно скребётся, рвётся на волю.

Обрываю всё: свое уступничество, безнадёжные попытки баночной пленницы. Беру её за хвостик и бью об пол. Да, так. Да, я такой. И не собираюсь уступать свою жизнь ни им, ни жабам, ни змеям. Кто-то же должен посмотреть реально и сказать: они, как

разносчики инфекций, – ещё большая опасность, чем боевики.

Убеждаю так себя, а самому всё равно совестно перед Борисом. Вот попался на мою голову сокамерник! Конечно, он благороднее, он не стал надевать халат трубочиста и мусорщика. И теперь любые сравнения не в мою пользу...

Однако через сутки перед сном Борис сам неожиданно спрашивает:

– А сегодня мышей ловить не собираешься? Вчера, по крайней мере, спали спокойнее.

А в первую ночь, когда заболели от напряжения глаза, в банке оказались отловленными двенадцать штук. Скорее всего, они-то и были самые наглые, потому что эту ночь мы и в самом деле спали спокойно.

Утром охрана забрала ночную добычу:

– Привяжем за хвосты к дереву и потренируемся в стрельбе.

Когда счёт перевалил за пятьдесят, я перестал считать свои «уловы». И выносил их на улицу сам, когда выводили в туалет.

Август ознаменовался ещё одним важнейшим событием. Наши – в смысле отряд, который держал нас, – при штурме Грозного захватил продовольственный склад, и однажды к нашему блиндажу подогнали грузовик.

– Становись цепочкой, – приказал Хозяин.

Вниз полетели ящики. Запихивали их во все углы, выстраивали штабелями, с грустью отмечая, как сжимается пространство.

– Вы как ослики, – посмеялся Хозяин, глядя на нас, худых, шатающихся под тяжестью коробок.

Ладно, посмотрим, как эти ослики станут сегодня ужинать. Жаль, в коробках только закуска «Новинка» – рис с болгарским перцем. А вы, будь пошустрее, могли бы захватить и что получше – тушёнку там, сгущенное молоко, консервы. Или слабо оказалось?

Но это я с жиру. Сидя на горе с едой. Жаль одного: коробки сократили расстояние от Пекина до Мытищ, а те оказались в полутора шагах от Москвы.

– Я знаю, ты против, – упреждая Бориса, вытаскиваю банку закуски. – Но лично я строить из себя благородного не собираюсь. И героически истощаться, сидя на еде, тоже. И вам не советую.

Мы давно жуём одну пустую гречку. Правда, накануне Че Гавара пошутил:

– Прикинь, что будете: мясо, гречку, макароны?

– Это меню? – поддерживаю тон.

– Меню. И тебя.

– Тогда гречку с мясом.

Засмеялся, ушёл. Но принёс-таки именно заказанное! Однако и это оказалось не всё. Уже совсем поздно, когда Борис видел второй сон, у входа затопали:

– Махмуд, держи.

Водитель протянул в темноту руку и тут же отдёргнул её, роняя что-то на пол.

– Ты что, шашлык ни разу в руках не держал? – удивился невидимый Че Гавара.

– Просто не ожидали.

– Писатель, не забудь: мы дали мясо, туда-сюда, движение.

Не забуду. Ни хорошего, ни плохого. Много пытаюсь понять, простить. Но, мысленно ставя себя на место боевиков, твердо убеждён: никогда бы не стал держать

человека под землёй...

И вот под землю, в наш бункер сгружают машину закуски. Открывая банку, оправдываю себя перед Борисом, словно ему определено быть нашей совестью:

– За тебя сколько запросили?

– Миллиард.

– Сколько банка закуски стоит?

Тот понимает смысл вопросов, они неприятны ему: лучше бы я всё делал молча. Но выживать мы должны вместе. Или всё же стоически держаться благородства? Ударили по одной щеке, подставь другую! Понимаю, как красиво было бы отвернуться от коробок. Но кому и что докажем? Самим себе? А может, самим себе как раз и надо помочь выстоять. Вне сомнений, прекрасней выглядело бы, возьми кто-то другой на себя эту неблагородную миссию по открыванию банок. Тогда вроде можно и кушать, и не потерять достоинства. Но где они, эти рыцари? Борису и Махмуду легче, они ждут действий от меня, я для них, кажется, уже давно на задворках совести. Но пусть тогда откажутся от еды...

И всё-таки хочу оставить последнее слово за собой.

– А как ты думаешь, что делают сейчас твои родные? Мне кажется, боевики поступают сейчас с ними очень благородно: сами предлагают снизить цену, помогают в сборе денег, успокаивают. А потом, если вдруг выйдем, станут присылать нам на лекарство.

Всё, хватит. Вижу, что достаточно.

Пригодились наконец и гвозди. Самым крупным продираю бороздку в крышке, отрываю её. Саму тут же определяю в ножи, а на еду хоть и сдержанно, но набросились. Все втроём. И слава Богу.

О, краснодарский завод по изготовлению «Новинки»! Где твои отзывы и предложений! Пусть сдохнут от зависти «Макдоналдсы» и «Биг Маки». Ты знаешь, как вылизываются досуха твои банки? Хорошо, что и война готовилась долгая, и блокпосты запаслись продуктами...

– Ещё? – разошёлся теперь уже Махмуд.

– Открывай, – поддерживает Борис. Скорее меня, чем водителя.

Наедаемся. Вволю. Впервые за плен.

Но, чтобы снять все недомолвки, сам говорю вечером Хозяину:

– Мы тут попробовали банку закуски...

– Ну. И правильно. Всё равно всё не съедите.

Всё не хотелось бы съесть: слишком много. На слишком долго. Да и изжога началась уже на третий день...

За радостями желудочными забыли о войне. А она исчезала вместе с летом, которое оставляло себе на память брошенные вдоль дорог ленты окровавленных бинтов и разорванных танковых траков, начинающие ржаветь медные терриконы гильз, подточенные первыми дождями окопы. Обглоданные собаками трупы. Переломанные взрывами мосты. И в этих остатках и ошмётках войны оставались и мы.

Да, мы переходили в осень. Мы, невинно виноватые, оставались среди сгоревших сел и разрушенных городов-сталинградов. Среди кишачих боевиками и шакалами лесов, среди чёрных лицами и платками чеченских матерей. Среди безусых парней, мечтающих о бородах «а-ля Шамиль Басаев», рвущихся в бой за Грозный, но оставленных командиром

сторожить нас. А вечерами у бездымных костров певших старинную песню под расстроенную, перехваченную лейкопластырем, словно бинтами, гитару:

Аллах велик, Аллах со мною.
И с этим именем не раз
Точил кинжал, готовясь к бою,
Войной не сломленный Кавказ.

Но война уже сделала воинами и их, вчерашних школьников. И когда из Грозного приехали те, кто брал город, они вместе со всеми подняли вверх автоматы и заставили их дёргаться в своих руках, выплескивая смертоносный огонь в серое, тихое без «вертушек» небо – салют победе и тем, кто её добывал. А также:

– Аллаху акбар!

Но война умирала нехотя. Она сопротивлялась днём короткими, а ночью – длинными очередями крупнокалиберных «красавчиков» на недавшихся блокпостах. Им с запозданием, в раздумье, словно детские потягушеньки после сна, начинала подыгрывать артиллерия – но уже не по площадям, как раньше, а в какую-то одну подозрительную точку. И скорее ради того, чтобы расстрелять снаряды, не тащить их за собой домой с войны.

Иногда по ночам, словно заблудившись в незнакомом небе, искали в лабиринтах созвездий выход из войны вертолёт.

Но уже стоял на чеченских дорогах гул иных «ниточек» – это бронеколонны вытягивались остриём на север, сматывая вслед за собой полевые кухни, штабы, посты прикрытия, медбаты – арьергарды. Война уползала, сжималась по дорогам, как щупальцы спрута, инстинктивно пытаюсь сохранить саму себя хотя бы в зародыше.

– Всё, войне конец, войска выводят, – радовались и сами не верили в случившееся боевики. – В России нашёлся один мужик – Лебедь, который пообещал прекратить войну и сдержал слово. Ему и Ковалёву мы поставим в центре Грозного золотые памятники за то, что помогли нам, – превозносили двух российских политиков-антиподов.

А мной опять овладевали противоречивые чувства. Вроде с исчезновением опасности погибнуть под собственными снарядами увеличивался шанс остаться в живых. Но одновременно с этим удлинялся и срок плена: не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, насколько осложнятся наши поиски. А каково сейчас родственникам пленных? Когда войска находились в Чечне, ещё была какая-то надежда на помощь армии, МВД. Теперь все условия по освобождению пленных полностью переходят к боевикам...

К счастью, я ошибся. Оставались люди, которые не признавали повелительного понукания Чечни.

Из рассказа начальника Следственного управления генерал-майора налоговой полиции

В. Лескова:

«Мы отработали все зацепки, все возможные варианты вашего освобождения. Один из них, оказавшийся потом основным, возник спонтанно: просмотреть все просьбы

противоположной стороны – официальные и неофициальные – по освобождению задержанных чеченцев.

На ваше счастье и общий успех, в списках мелькнуло село, около которого произошло ваше пленение. Больше того – главарь банды, которая вас захватила, оказался родом из этого же района. Подумали: а что, если родственники задержанного парня, назовем его Муса, сами надавят на соседнее село и главаря? В Чечне уважают пожелания соседей, может, сработает и здесь?

Проверили данные по Мусе – ни громких дел, ни убийств, ни насилия, ни участия в боевых действиях. Руководство ФСНП обратилось в Генеральную прокуратуру: просим рассмотреть возможность обмена Мусы на нашего офицера. Следователи налоговой полиции приступили к оформлению необходимых документов...

И до чего неожиданны оказываются превратности судьбы!

Следователь Краснопресненской прокуратуры, который вёл дело Мусы, фактически отказался выполнять распоряжение своего руководства, не допуская налоговых полицейских до подопечного.

– Мы здесь их ловим, ведём следствие, а кто-то ради кого-то начинает строить игры. Не получится!

Понять майора было несложно: в Москве прогремели первые взрывы «чеченского возмездия», и, хотя Муса к ним никаким образом отношения не имел, прокуратура настраивалась очень решительно. Дело дошло до того, что к следственному изолятору, в котором находился Муса, наши оперативники вынуждены были приезжать в сопровождении вооружённой физзащиты.

– Не отдам, – упирался следователь.

– Пойми, что это одна из немногих реальных возможностей освободить Иванова. Что тянешь резину, всё равно ведь прикажут отдать.

– Погодите, какого Иванова?

– Нашего сотрудника.

– Дайте бумаги. У меня земляк, тоже Иванов, сидит в Чечне в плену. Ну-ка, ну-ка... Точно, он!

С Николаем мы жили на соседних улицах, учились в одной школе. Так что жизненные перипетии всегда богаче и неожиданнее любого вымысла. Конечно, отдал бы он Мусу и без этого, но здесь уже не то что препятствовать, а помогать стал в оформлении необходимых бумаг».

– Николай, ну что твои в полиции молчат? Почему нет вестей? – с надеждой глядели ребята.

– Мужики, если нет вестей, это не значит, что ничего не делается. Что-то наверняка крутится, просто мы не знаем об этом. Нам остаётся только ждать.

Известий дождались в последний день августа, днём. Нам открыли дверь: выходи. Хотели надеть повязки, нам опять отмашка: не надо. Сердце, притуплённое бесконечным ожиданием, вновь встрепенулось: куда и почему без повязок?

Разрешили подняться только на ступеньки блиндажа. Солнце, которого мы не видели два с половиной месяца, пробилось сквозь листву и уставилось на нас – даже не бледных, а каких-то жёлтых, – что ещё за чудовища, почему я не замечало их раньше на земле?

Но сильнее солнца нас удивило появление у землянки Непримиримого. То, что он

продал нас в другой отряд, об этом догадались давно, но поди ж ты, сидит на корточках над траншеей хозяином, усмехается нашему виду. Рядом с ним, ковыряясь ножом в зубах, примостился «поплывший» наркоша.

– Живы ещё? Полковник, а туфли твои я сносил.

Пожимаю плечами: что туфли, когда не знаем, зачем появился и почему разрешили подняться на свет без повязок. Ему туфли, мне – тапочки. Белые. Так легли карты...

– Домой хотите?

А он сам в подземную тюрьму хочет? Два вопроса, ответ на которые и спрашивать не нужно.

– Короче, надо написать, что вы живы и доверяете мне заняться вашей судьбой. Через неделю будете дома.

Верить? Слишком боязно. Слишком конкретная дата.

Кошусь на ребят. Они обрадовались появлению старого знакомого откровенно, у меня же – тревога. Симпатии у нас с Непримирым друг к другу никакой, но выхода нет, пишу: «Доверяю...»

– Всё, по местам. Ждите.

Загоняют обратно в землянку. Лампа горит, но после света ничего не видим. На ощупь усаживаемся на нары, переосмысливаем новость. Обсасываем её, вспоминаем, с какой интонацией произносилось то или иное слово. А всего-то произнеслась одна фраза:

– Через неделю будете дома.

Уверовали. Готовы верить в это, только в это и ни во что больше. Даже календарик на сентябрь не рисуем – зачем, если к седьмому числу окажемся дома. Как раз день рождения моего старшего брата. Успею поздравить и помочь родителям выкопать картошку.

15

Облом. Ни через неделю, ни через две, ни дальше свобода даже и не заглянула в наше подземелье.

И начало осени ничем особо не выделилось. Лишь поблизости от землянки кто-то сгребал в траншее опавшие листья. Коричневый листок, словно декоративная рыбка, крутился на паутинке перед нашей дверью. Потом, когда на кусты у входа набросили маску и на её зелёные разводы стали падать жёлтые дубовые вырезы, поняли: что-то не получается и у Непримиримого.

Сам он больше не появлялся, давно исчез и Боксёр. Кроме Хозяина и Че Гевары к нашему вольеру допустили молодежь – Младшего Брата, Крепыша, Чику, Литератора. Последний запомнился не только прекрасным знанием поэзии Пушкина и Лермонтова, собственными неплохими стихами, но и фразой:

– Россия испокон веков имела хороших писателей и плохих политиков. И писатели создавали замечательные книги как раз о бездарных правителях.

А нам что те, что другие – не кормили и не грели. Мы элементарно замерзали. Даже щепоть соли, поначалу растекавшаяся от сырости, больше не расплзлась маслянистым пятном. Сохраняя остатки тепла, стали занавешивать одеялом дверь и днём. Темнее, но

другого выхода не видели.

– Чего закрываетесь? – слово в слово, как перед этим у комариной ямы, поинтересовалась охрана.

Наш ответ оказался более оригинальным:

– Стынем.

– Водку будете? – вдруг предложил Хозяин первейший способ обогрева.

Ещё не выпивали, а дыхание перехватило.

– Приходил в гости парень, принёс две баночки «Асланова». А мы в отряде на Коране поклялись не пить, не колоться наркотой и не курить её. – Правда, тут же поторопился уточнить: – Не на всю жизнь, конечно, а пока до конца войны.

Соврал Хозяин насчёт парня – через несколько дней охранники сами и рассказали, что банки нашли в загашнике у одного из боевиков. За что тот и получил свои первые сорок палок.

– А как их бьют? – неосторожно поинтересовался я у Че Гевары.

– Хочешь попробовать? Обеспечим. Туда-сюда, движение.

– Нет-нет, я готов запомнить на словах.

Сошлись на последнем варианте. Узнаю, что за первую провинность человек получает сорок палок, за вторую – восемьдесят, попался в третий раз – сто двадцать. Палка выбирается в толщину мизинца того человека, который бьёт. Его самого определяет пострадавший. Дружеское участие здесь не проходит: если замечается, что исполнитель щадит потерпевшего и не особо рьяно выполняет обязанности, его вправе самого положить на скамью под удары. Бить дозволяется от шеи до подколенок, на теле возможен один слой одежды.

Не хочу ни законов шариата, ни мусульманства, ни средневековья. И от водки не отказываемся. Не пить её можно на воле, когда достаточно продуктов и витаминов. А ради профилактики рекомендуют даже врачи.

За прошедшее лето, за будущие хорошие вести, за первый класс, в который пошла доченька Бориса, и разлили первую банку. Вторую оставили на растирку, лечение зубов и на иные пожарные случаи. Здесь я скрягой слыл отменным: если удавалось выпросить головку чеснока или лука, делил её на два-три дня.

– Да тут есть нечего. Может, завтра выйдем, и ради чего оставлять, – кошкой на недоступную мышь глядел Махмуд на белые кусочки лука.

– Вот перед выходом и съедим.

– И где ты научился такому скряжеству?

– Живу я долго.

А если честно, то это афганская война преподнесла свои уроки по выживанию. Там, например, последний глоток воды позволяли себе выпить лишь перед самым возвращением в лагерь, когда уже никакой вводной не могло последовать. А пуще глаз берегли даже не воду, а боеприпасы. С ними, кстати, страшнее всего и расставаться в бою. Однажды только приходилось мне пробиваться из окружения душманов. И не пробиваться даже, а выползать на спине по арыку. «Духи» стреляли по нашей разведгруппе из узких окошек, но высокие дувалы прикрывали расположенный по центру улочки арык. «Мёртвой зоны» хватало как раз на то, чтобы ползти, не поднимая головы.

Толкались пятками и плыли в вонючей воде-жиже, стреляя по окнам-бойницам и не

давая противнику высунуться побольше. Тогда и услышал сзади голос одного лейтенанта:

– Николай, у меня патроны кончились. Дай «рожок».

Оторвать от себя магазин с патронами, когда неизвестно, что ждёт впереди?!

Коля, дай патроны. Ползу, не слышу

– Выручи, дай «рожок»! – в голосе уже не просьба, а страх.

Проклиная всё на свете, отдал. И впервые тогда вытащил из подсумка гранату, приладил в кармашке на груди. Примерился, как рвать кольцо...

Потому и говорю, что живу долго.

На войне, в бою страшно умолкнувшее в твоих руках оружие. В плену, когда не бьют и не расстреливают, – голод и холод.

А сентябрьские ночи становились всё длиннее и холоднее. Правда, в туалет стали выводить без повязок, и мы увидели луну, звёзды. Ничего в мире не изменится, если вдруг пропадём на какое-то время или даже навсегда...

А однажды вдруг что-то огненное поплыло среди деревьев в направлении землянки. Вернувшись в неё, не поверили глазам, но почувствовали телом – на полу дышала жаром высыпанная лопата углей из-под костра.

– Так теплее? – довольно переспросил Хозяин.

– А можно и утром приносить? – побежал я опять впереди паровоза, желая сделать обязательной хотя бы ночную порцию жара.

– Посмотрим, – как всегда, ничего не пообещал конкретно Хозяин.

Сам он после посещения Грозного пребывал в мрачном расположении духа. Там его десятки раз останавливали, проверяли документы и требовали разрешение на ношение оружия.

– Да я автомат за собственные деньги купил и никогда никому его не сдам. А где они были, когда я два года воевал в горах? – попытался даже у нас найти он сочувствие. – Пovyлезали из щелей, все герои, с бородами и на машинах. Да если бы нас было столько, сколько сейчас шляется с автоматами по Грозному, мы бы давно победили.

– Хреново, – не сдержался Борис, когда остались одни. – Если начнутся разборки между отрядами за власть, не оказаться бы между ними. Видели, как раздражены?

Да, охрана своего недовольства уже не скрывала.

– Вы хоть знаете, за что сидите, – сказал Че Гевара совсем неожиданное. – А за что я торчу здесь с вами?

И совсем тоскливо стало, когда он вытащил из-под нар противопехотные мины и принялся устанавливать их на ступеньках блиндажа. На наш молчаливый вопрос, зачем это делать у нас на глазах, пояснил:

– Это от своих. Слишком много народа хочет вас занять для собственных целей.

Не всё гладко и пристойно, оказывается, шло в чеченском королевстве после победы.

Из рассказа

генерал-майора налоговой полиции

А. Пржедомского:

«Занявшись проработкой вашего освобождения через обмен, не оставляли и другие варианты, чтобы в случае неудачи не остаться у разбитого корыта и начинать работу с

нуля. По оперативно-розыскным каналам через третьих лиц вышли на руководство оппозиции. По их приказу проверились все тюрьмы, сверены списки пленных, допрошены полевые командиры. Итог оказался неутешительным: полковник Иванов нигде не числился и не значился. По слухам, которые тут же запустили ваши тюремщики, вы были расстреляны первого сентября.

Сообщение об этом, конечно, передали группе Расходчикова, но поиск решили не прекращать. Надеялись, что это блеф».

Блеф не блеф, а в середине сентября меня вывели из землянки одного.

– Переписывай, – незнакомый худощавый мужчина лет сорока протянул листок.

«Вот уже три месяца я нахожусь в плену у чеченских народных мстителей. Как полковника меня приговорили к расстрелу... За мое освобождение требуют 500 тысяч долларов, срок поставлен до ноября. Потом они расстреляют меня...»

– Такую сумму за меня никто не заплатит, бесполезно, – отодвигаю листок, хотя в нём – моя жизнь. Пусть и отмеренная до ноября.

– А это тебя не должно волновать.

Меня-то как раз и волнует. Если в полиции зарплату выдают с задержкой, о каких сотнях тысяч долларов может идти речь! И где Непримирымый с его обещанием всё закончить за неделю? Знает ли он о новом условии? До ноября – полтора месяца...

– Пиши на имя жены.

Жены?

– Но вы сами подумайте, как я могу написать жене о своем расстреле? Поймите её состояние, когда прочтёт записку. Тем более с невыполнимыми условиями.

– Много разговариваешь. А не станешь писать, мы сами сообщим ей такое, отчего она на коленях поползёт через всю Москву в налоговую полицию. В это веришь?

Верю.

Прикрываю глаза. Не хочу ничего видеть. Почему это не сон! Быть в плену в собственной стране...

– Да ты и сам висишь на волоске, полковник, – не дает забыть от реальности посланец. – Недавно погибли двое из нашего отряда, кстати, которые брали тебя, – нервно заходил туда-сюда. – Село требует отщепенца. От нас. Потому что оно нас кормит и греет. И мы обязаны учитывать их настроение. Двоих офицеров отвезли им на растерзание, головы им отрубили на виду у всего села. Но они требуют минимум полковника. Тебя. И если твои не будут шевелиться, мне твоей башки тем более не жалко. Отвезу и брошу под ноги родственникам погибших. Выбирай.

Остановился напротив, руку положил на отполированную изогнутую спинку пистолета, торчащего из кобуры на ремне.

– Но жена ничего не решит, вы ведь понимаете. Может, я напишу это письмо директору, а жене сделаю приписку, чтобы отнесла в налоговую полицию?

Тут уже не знаешь, что лучше для семьи: получить сообщение, что меня только собираются расстрелять или о самом расстреле...

Разрешили: пиши на имя директора.

Радуюсь, насколько можно в моём состоянии, официальному тону записки: в полиции вряд ли поверят, что я мог самостоятельно родить фразы про народных мстителей. Боюсь,

чтобы не сложилось мнение, будто я из плена командую своими генералами. И записку жене дописываю более спокойным, раскованным тоном. Интонация должна сработать: пусть не опускают руки, пусть поймут, что я держусь и надеюсь.

– У нас нет таких крутых телефонов, чтобы зачитать письмо. На хвост наверняка сядут. Отвезём лично.

Из рассказа заместителя директора ФСНП генерал-лейтенанта налоговой полиции

Ю. Чичелова:

«Письмо пришло по почте из Моздока второго октября, обратный адрес – “от тети”. Хотя условия ставились жёсткие, мы несколько обрадовались дате под запиской – 18 сентября. У нас ведь непрерывно шла информация, что вы расстреляны первого числа. Отправили записку графологам, те подтвердили, что почерк ваш. Значит, жив.

Вышли на Расходчикова, тот в запарке: Рамзан юлит, не является на “стрелки”. Принимает решение: Мусу, которого Генпрокуратура разрешила использовать для обмена, вывезти во Владикавказ, чтобы находился под рукой и в любой момент мог участвовать в операции.

А у нас в налоговой полиции стихийно приступили к сбору денег. Офицеры, прапорщики оставляли себе из зарплаты по сто тысяч, остальное несли в общую казну, на возможный выкуп. Удивительный экзамен на нравственность, сплочённость. Приехал и директор издательства “ЭКСМО”, где печатались ваши последние книги, привёз определённую сумму. А больше всего в этом плане сделал, конечно, директор управления по городу Москве генерал-лейтенант Добрушкин.

Собранные деньги не понадобились, их вернули людям обратно, но этот человеческий порыв... Он многого стоит. И даже не в деньгах дело. Сотрудники поверили, ощутили: случись вдруг что-либо подобное с ними, их тоже не оставят в беде, станут бороться до последнего».

Конечно, кроме меня у налоговой полиции России и её руководства существовали ещё десятки и сотни проблем, порой более важных и животрепещущих. Если брать лишь криминальную сторону, то подразделениями собственной безопасности в том, моём «пленном» году выявлено около 1 000 посягательств на жизнь и здоровье наших сотрудников, 500 фактов угроз и шантажа, более 100 случаев нападения и нанесения телесных повреждений, 44 поджога, взрыва и порчи имущества. От рук киллеров погибло 4 полицейских. О многом говорят и другие цифры: пресечено 142 случая целенаправленного внедрения представителей преступного мира в налоговую полицию и инспекцию и 44 попытки вербовки наших сотрудников.

В то же время на каждый вложенный в налоговую полицию рубль полицейские возвращали казне 46 рублей дохода.

И будни: в Госдуме борьба за Налоговый кодекс, в правительстве – за финансирование самой налоговой полиции. Оперативники добывали информацию о преступной деятельности всевозможных махинаторов, аналитики высчитывали пути развития «теневого» бизнеса, управление налоговых проверок корпело над томами или

ювелирно подогнанных криминальных документов, или, наоборот, совершенно бездарных и бессистемно заполненных документов. В то же время полковнику налоговой полиции из физзащиты Александру Карелину, семикратному чемпиону мира, девятикратному чемпиону Европы и трёхкратному Олимпийских игр, Указом Президента присваивается звание Героя России. Открывается Академия налоговой полиции, где впервые начинают готовить налоговых сыщиков.

Жизнь продолжалась...

А мы, как над своей судьбой, сидели над углями. Они пульсируют красноватыми жаркими толчками, но остывающий пепел погребает под собою угли всё больше и больше. Ворошить нельзя, тепло уйдёт быстрее. Пусть лучше жар-жизнь держится внутри: не так жарко, но дольше сохраняется.

Собственно, всё как у нас. У нас тоже время работает в отрицательную сторону. А у меня к тому же пошёл календарь обратного счёта – от ноября. В какие-то моменты хочется, чтобы злополучный месяц подошёл быстрее: если суждено, то и пусть всё закончится...

– Эй, ты что, – теребит меня Борис. – Давай лучше про кого-нибудь поспорим. Про Ленина. Я считаю, что он гад и сволочь. А ты, конечно, против.

– Против. Я не хочу признавать только чёрное и белое. Есть полутона, – говорю о человеке, а подразумеваю чеченскую войну, из-за которой мы здесь. Не все ведь чеченцы виноваты в ней...

– Ты не выкручивайся. Вы все, так называемые патриоты-державники, никогда не говорите открыто и прямо. Всё лазейки ищите.

– Это не лазейки. И я не «так называемый». Да, я не хочу делить людей на категории, а Ленина тем более. Чем-то человек нравится, чем-то отталкивает. Так всегда,

– Лукавишь, всё время лукавишь. Человек или может нравиться, или нет. Ему доверяешь или нет. Любишь или ненавидишь. А вы, коммунисты, перевернули всё с ног на голову.

– Коммунистом, насколько мне известно, был и ты. И мне кажется, что кожаные куртки, которые ты так ненавидишь и которые в тридцатых годах расстреливали людей, появлялись как раз из таких максималистов, как ты. Это у них точно так же: кто не с нами, тот против нас. К стенке. И без всяких сомнений и раздумий. Правда – только у меня, в моих устах. А я не хочу быть твердолобым и упёртым. Я готов сомневаться.

– А я считаю, надо быть принципиальным и не юлить, не прятаться за свои сомнения, – продолжает учить жизни Борис. А может, и не учить, он просто обожает спорить, заранее принимая крайнюю точку и будоража меня.

Усмехаюсь. Неужели произвожу впечатление именно такого – скользкого и хитрого? Тогда – грустно. Обидно. Дойти до края и услышать о себе такое...

– Всё, хорош, – вспоминает о своей роли миротворца и звании «апа» Махмуд. -- Марш по разным углам.

Я и сам отворачиваюсь, не желая продолжать разговор. Нервы на пределе, судьба неизвестна ни на одну будущую минуту, а мы уличаем друг друга в неискренности. Перетягиваем на сторону своих убеждений, презирая противоположные. Сейчас мои убеждения – семья, родные, близкие и знакомые. Как коснётся их моё исчезновение? Не нынешнее, пока я ещё жив, а полное? И как же я поломаю судьбы своим детям!

Тянусь к пустой сигаретной пачке, аккуратно разрываю её. Стихи, которых не писал лет двадцать, вдруг легли сразу начисто, будто сочинил их давным-давно:

Надюше. Пленное

Две косички, улыбка, распахнуты руки,
Словно хочет спасти, оградить и обнять,
Дочь навстречу спешит после долгой разлуки,
Но не может никак до меня добежать.
Я и сам не хочу. Прерываю виденье.
Слишком горько и больно мне видеть тот бег.
Я за тысячи вёрст заточён в подземелье,
И охранник сквозь смех говорит про мой грех.
Ах, как ночи длинны, как тревожны рассветы,
Каждый день нас готов разлучить навсегда.
Здесь бессильны молитвы, смешны амулеты,
Всё седеет виски и белей борода.
На коленях стою лишь за то, что позволил
Твоим малым сердечком коснуться беды...

Дописать не мог. Слишком тяжело и больно. И это не старый стих двадцатилетней давности. Это – сегодня. Чувствую: буду думать о детях – надорву сердце...

– Эй, ты чего? – вновь заглядывает в лицо Борис. – Что случилось?

Очнулся. По щекам текут слёзы. Это – плохо. Это – нервы. Встаю, ухожу к двери, упираюсь лбом в дубовые жерди.

– Перестань, Николай, – прочитав листок со стихами, просит Борис. – У меня, между прочим, тоже дочь.

Не буду. Больше не буду. Сам вижу, что отчаяние совсем рядом и готово наброситься голодной собакой. А у меня впереди ещё месяц, целых тридцать дней. Не может быть, чтобы наши сидели сложа руки, у нас профессионалы, они знают цену времени. Что-то наверняка происходит. И единственная отрада, что семья знает больше про поиски, чем мы сами.

Пытаюсь заглянуть через масксет в небо. Оно чуть-чуть прокалывается сквозь неподвижную листву. Но небо – далеко. А вот над головой по-прежнему дубы, уложенные в перекрытие блиндажа. Они тоже сопротивляются смерти, выдавливая из своих обрубленных тел ростки-побеги. Но темнота и сырость довершают дело, начатое топорами и пилой, – они выходят худосочными, бледными. Словно не из дуба, а из подвальной картофелины...

Страхиваю видения, сравнения, слёзы. Я ещё не обрублен и не спилен. И за меня бьются.

– Махмуд, раскинь карты. Посмотрим, кто из нас в этой жизни останется в дураках.

Тому играть не хочется, но интуитивно научились: если просят – то надо, какие бы кошки у тебя самого ни скребли на душе. Но выбрасываем карты машинально, не запоминая ходов и тут же забывая, кто сколько раз выиграл. Тупое, механическое

движение рук. Голова забита другим.

– Всё, больше не хочу, глаза болят, – на этот раз просит Махмуд, и теперь я принимаю его просьбу.

Водитель укладывается на нары, и вдруг отмечаю, какими мы сделались маленькими, усохшими. Особенно Борис, который и вначале не отличался крупным телосложением, а сейчас вообще не виден под одеялом. Какой я? Глянуть бы на себя в большое зеркало, при хорошем свете. О бороде когда-то тоже мечтал, да дольше трёхдневной щетины дело не продвигалось. Сейчас хоть мети, как помелом.

Начинаю ходить по землянке, не давая себе заикливаться на прошедшем.

– Слушай, туфли снять не можешь? – вдруг раздражённо спрашивает Махмуд. – Гремишь, как на плацу.

Ребята тоже взвинчены. Когда-то я летал в командировку к ракетчикам-стратегам, которые сидят у кнопок «пуск» под землёй. Так вот у них как только кого-то начинало раздражать пятнышко на рубашке напарника или даже запах изо рта, расчёт тут же меняли. Наш «экипаж» вряд ли заменяем, поэтому...

Поэтому снимаю туфли, облачаюсь в шлёпки водителя. Шаги стали бесшумными. Так же бесшумно вдавливаю себе: «Держаться, держаться, держаться».

Шью впотьмах корсет. Из-за почек. Впервые узнал, где они находятся, – думал, стылость высосала всю спину, но она продолжала и продолжала, да ещё с болями, что-то тянуть по бокам.

– Это почки, – провёл углубленное медицинское освидетельствование Борис.

Лежать, несмотря на нары, всё холоднее. Угли дают спасение часа на два, остальное время боремся с холодом зарядкой. Давно присматривался к одеялам, достаточно элегантно задрапировавшим стены, потом плюнул на последствия, взял осколок зеркала.

– Ты что? Это же имущество Ичкерии, – полушутя-полусерьёзно останавливает Махмуд. В плену как на незнакомой планете: любое неосторожное движение таит опасность. Но ведь порой ещё большую угрозу представляет бездействие...

Выбираю менее подгнившее одеяло и начинаю кромсать. Сначала отчекрыживаю длинную полосу – пойдёт на портянки. Обматываю ноги, сверху натягиваю дырчатые носки. Думал, нога не войдёт в туфлю. Вошла. Или она похудела, или башмаки разносиись.

Одеяло на стене висит некрасивым ошмётком, словно полостную операцию делал не хирург, а зубной техник. Но ведь и не скальпель был в руках. Срываю его полностью. Полосу дальше. Новым куском заматываю под костюмом грудь и спину. Протыкаю дыры для бечёвки, плотно затягиваю пахнувший мышами, пыльный корсет. Сразу становится намного теплее, а запахи – это ерунда, это блажь.

Успехи вдохновляют, и проволокой сшиваю вместе два одеяла, которыми укрываюсь, – чтобы не разъезжались. Жертвую ещё одной полоской с полотенца, повязываю лоб наподобие платка. Совсем тепло. Что ещё можно предпринять? Как же мы ленивы в обыденной жизни и как мало знаем и умеем. Цивилизация развращает или, по крайней

мере, не учит выживанию...

Замечаю лопату, забытую охраной с вечера после порции углей. Выкапываю в полу рядом с нарами углубление. Затем собираю пустые банки из-под «Новинки», начинаю их сплющивать. Махмуд догадывается о намерении, начинает помогать. Выкладываем жестяной яму – теперь жар будет держаться ещё дольше. Можно даже опробовать.

Разбираем с Махмудом одну из полок, лопатой колем на щепу чурбаки. Собираем всё, что может гореть. Складываем костерок, зажигаем. Тяги нет, и дым повалил такой, что на улице слышался топот.

– Что у вас? Живы? – кричат издали, боясь окунуться в грязно-белую струю, вытягиваемую из блиндажа.

Мы лежим на полу, задыхаемся. Но не настолько, чтобы умирать. Терпим, верим, что дрова займутся огнём и дым постепенно уйдёт. А тепло останется.

– Живы. Греемся.

А для себя отмечаем штрих – знать, не безразличны мы ещё боевикам, виды у них на нас имеются. И то хорошо.

Плохо, что приближается зима. На лето грех жаловаться, в целом было тепло. А вот морозы в таких условиях выдержать не сможем. Впрочем, что я о зиме. Ноябрь ближе...

Верю и не верю в данный срок. С одной стороны, зачем убивать, а с другой – а почему бы и не убить? У человека с ружьём нервы всегда слабее...

А нас уже несколько раз поднимали днём на свет, разрешали походить около землянки. Стрельбы давно не слышно, лес стоит тихий, мирный и, судя по запахам, – грибной. В лесах, даже чеченских, кроме боевиков и шакалов, должны водиться и грибы. Война грибам не помеха.

И ещё один подарок, в котором захотелось увидеть смысл, – белые вязаные шапочки, принесённые Чикой.

– Белые – это хорошо, – вслух обрадовался я.

– Почему?

– В начале плена нам дали чёрные носки. Они сносились. Может, с шапочками светлая полоса начнётся.

– Пускай, – соглашается Чика. – Нам тоже надоело из-за вас здесь мёрзнуть. Все отряды уже по домам сидят.

Но ещё большая неожиданность ждала Бориса, когда после приезда мотоцикла слышался топот в нашу сторону.

– Кто Борис? Ему передача.

В пакете, брошенном в дыру, оказались свитер, белая рубашка (!) без рукавов (!!) и бельё. Ни записки, ни объяснений. Радость Махмуду, заимевшему наконец плавки. А вот Борис вместо радости загрустил. И, как вскоре выяснилось, не без оснований. Именно его выдернули на очередной допрос.

– Если твои родственники не успокоятся, мы включим им счётчик. Дадим неделю срока и, если тебя не выкупят, начнём набавлять цену – миллиард сто, миллиард двести.

– А что происходит?

– Хотят получить тебя бесплатно, за красивые глазки. Не получится, пусть хоть на самого Яндарбиева выходят. Мы никому не подчиняемся, только собственному карману. А в нём должны рождаться деньги. «Пустой карман не любит ножи...»

– «...Карман командует: вперед», – закончил уже знакомую нам песню Борис.

– Вот видишь, всё знаешь. Пиши своему брату: если ещё раз появится в Чечне без денег, возьмём в заложники и его. И пусть тогда попробуют выкупить двоих.

Борис нервно пишет, понимая свою обречённость, – если родственники пытаются освободить его без денег, значит, нужную сумму не смогли собрать. Да и где её соберёшь? С чего? Богатые в Чечню в самом деле не ездили, а он полтора года на свой страх и риск, по совести...

Снова всё плохо, зыбко. Носки сносились. Их бы выбросить, но других нету...

В эту ночь, словно специально, охрана опять забывает в землянке лопату. Бдительность потеряна из-за гитары: её попросил принести Махмуд, Борис настроил, спел несколько песен. Голос у него оказался красивый, и вспоминаю свои концерты: как же я давил ребятам на нервы! Но сами виноваты, могли бы петь и без меня.

После песен охрана уходит, а лопата как стояла, упёршись в раздумье лбом о стену, так и осталась нетронутой. Переглядываемся с Махмудом, подходим к двери. Оглядываем стены вокруг решётки. Углубление можно сделать за час-полтора и, минуя растяжки, выбраться наружу.

Мысли о побеге вертелись всегда, и вот сегодня есть реальная возможность вырваться.

Но что дальше? Что после того, как поднимемся на ступени? Если делать ноги серьёзно, то уходить придётся в горы, через перевалы. На равнине, к тому же после вывода войск, нас отловят в первые два дня. Но в горах без теплых вещей, пищи и оружия делать нечего. Всё это нужно брать здесь. Значит, кого-то убивать? На Хозяина рука не поднимется, на Че Гевару, Чикку, Литератора тоже. Вообще-то парадокс. По отдельности каждый вроде и неплохой, а вот вместе... Вместе – отряд, где действуют законы стаи.

А тут ещё Че Гевара на нравственность, сам не зная того, надавил. Признался накануне:

– Туда-сюда, когда вас водили с повязками, вы были абсолютно безразличны нам. А тут создали движение, сняли их, увидели ваши глаза – вроде и убивать теперь жалко будет. Прикинь, ерунда какая.

Но основное, что удерживает от побега, – боязнь за семьи. Домашние адреса известны из паспортов, и не успеем мы встретить первый же рассвет на воле, как звонки в Нальчик и Москву поднимут тех, кто отыграется на наших близких. А если ещё и кровь прольём...

Так что, даже если минуем посты, пройдем минные поля и растяжки, перевалим хребты, отобьемся от волков и придём-таки к своим, тут же на коленях опять поползем в Чечню. Умоляя не трогать семьи. Плен – это личный крест каждого, и нести его только нам. Поэтому пусть хоть всю охрану снимут, пусть распахнут двери – не выйдем. Пока не договорятся те, кто занимается нами.

Махмуду, не имеющему пока семьи, с мыслью о беспомощности смириться тяжелее. Но времена, к сожалению, не кавказских пленников Льва Толстого: связь сделает месть быстрой.

Остаёмся. Отходим от двери, чтобы не соблазнять себя. Время чертить календарики на октябрь...

Расщепляю, расправляю очередную сигаретную пачку. Проволочкой пришиваю

белый лоскуток к истрепавшейся, истёршейся простынке, где зачеркнуты предыдущие месяцы. Пока помню практически каждый прожитый день – и когда расстреливали, и когда давали надежду. Перемещения помню. Разговоры. Значит, мы ещё не долго маемся в заточении?

Подхожу к двери. Отодвигаю одеяло. По ступенькам топот – кто-то стоял у решётки и слушал наши разговоры. Пусть слушают, если не отваливаются уши. Их дело – охранять.

Тут же задумываюсь о своём равнодушии. Хорошо это или плохо? С одной стороны, приказал себе принимать происходящее как неизбежность, но и махнуть на всё рукой... Нет, надо продолжать и удивляться, и негодовать, и радоваться. Большею частью про себя, конечно. По-моему, в том же Коране записано: «Аллах всемогущий. Сначала дай нам терпение, а только потом – страдания...»

Ох, война-война, дурость несусветная. Политики с обеих сторон наверняка уже бросились подсчитывать её результаты и выгадывать своё будущее, социологи – проводят опросы и вычерчивают рейтинги. Военные, в очередной раз подставленные и, как всегда, оставленные одни против прессы, запрутся в городках. Родители погибших зададут один-единственный вопрос: «За что?» – но никто не даст им ответа – ни в Кремле, ни в Белом доме. Потому что в собственной подлости и глупости мало кто признается. А лицами чернеть будут близкие тех, кто пропал без вести или захвачен в плен. От них же постараются каким-либо образом побыстрее отгородиться...

Всё предугадываемо в этом мире.

Всё?

Мы в очередной яме. Седьмой.

Накануне нас уложили в кузов грузовика, сверху забросали одеялами и привезли в какое-то селение. Машина въехала во двор, и нас прямым ходом – в узкий бетонный люк. Следом полетел нажитый за три месяца нехитрый скарб, собранный в землянке столь спешно, что невольно подумалось: или в лагерь с инспекцией приезжает кто-то из высшего начальства, или возникла реальная угроза нашего перезахвата.

Новый подвал длинен, узок, приплюснут. Школьный пенал.

С бетонного потолка, обтянутого сеткой «рабица», капает конденсат. Вдоль стен – лавки с белыми бляшками плесени. Укладываем на них одеяла, но доски от сырости легко переламываются пополам, выставляя острые, словно кости при открытом переломе, углы.

«Так изнутри сгниём и когда-то переломимся и мы», – мысль мелькнула сама собой, просто машинально отметила, что, возможно, произойдёт с нами через какое-то время.

В дальнем углу блестят крышки закрученных на зиму консервов – помидоры, огурцы, варенье. В любом случае с голоду хотя бы первое время не помрём. А вот что делать с сыростью...

– Ох, сынки, попали к бабке на старости лет в подвал, – слышим над собой голос.

В люк, став на колени, заглядывает старуха, жалостливо качает головой. Рядом резвятся детишки.

Мы немеем. Кажется, это самое глубокое потрясение за время плена. Когда держат в

неволе боевики – это вроде нормально, как-то объяснимо. Но чтобы в подобном участвовали женщины...

Попытался представить маму – что бы она делала, если бы мы, её сыновья, загоняли в погреб пленников? Она у меня брянская партизанка, сама не раз сидела в ямах под бомбёжками. Помню, рассказывала, как укутывали во время мороза всем отрядом попавшего в плен мадьяра. Прокляла бы, отреклась и выгнала из дома. А здесь – в порядке вещей. Конечно, в глазах наших тюремщиков – это не мы сидим, а сотни тысяч долларов копошатся в яме. А ради этого можно закрыть глаза... Вот только мама бы не закрыла.

А пока нас продолжает жалеть старуха:

– Что ещё принести?

– Чего-нибудь постелить на пол, – прошу я. Пол мокрый от падающих сверху капель.

– Солому, старые одеяла.

Расщедрились на два пустых мешка. А семь полных, с мукой, наваливают сверху на крышку. В щель видим, как между мешками вставляют гранату с выдернутой чекой. Господи, детей бы поберегли от случайностей.

Нет, случайность для них – это если сбегут деньги. Эквивалент денег. Мы.

Стелемся. Настроение прыгает: от «держаться» до полной апатии. Белые вязаные шапочки, наш символ освобождения, посерели от подземной грязи. На тельняшке Махмуда стёрлись грани между полосками, получилась одна сплошная. Чёрная.

Всё возможное, даже платки для глаз, укладываем на пол. Вынужденная жертва – одно одеяло крепим на «рабице», чтобы не капало на лица. Возимся долго, тщательно, не желая оставлять времени на разговоры. Без пасьянса очевидно: дела плохи. Будь свобода рядом, в село бы не повезли, зачем им риск. И до ноября всего двадцать шесть дней...

– Лучше бы мёрзли в землянке, – приходим к общему мнению.

Потом, после плена, финансисты станут подсчитывать расход аванса, который брал в командировку.

– Билет на самолёт, конечно...

– Конечно, – кивнул я. – Сгорел в огне чеченской войны.

– Тогда можем посчитать лишь сумму билета в общем вагоне пассажирского поезда, – умоляюще попросит его извинить за вынужденную бюрократию начальник отдела Валерий Федосович Петровецкий. – И за гостиницы...

Разведу руками: не выдавали квитанций в ямах.

– Тогда только квартирные, по четыре пятьсот в сутки, – совсем тихо сообщит финансист и виновато умножит названную цифру на мои 113 дней плена.

Бухгалтерия. Хоть здесь порядок.

Интереснее выйдет в санатории в Рузе, на приеме у стоматолога. Врач включит старинную, времен Тухачевского и Первой Конной, бормашины, дождётся, когда она наберёт допустимые обороты. Увидев мои сжатые кулаки, посоветует:

– Знаете, здесь рядом деревня Петрищево, где Зоя Космодемьянская попала в плен. Может, сначала туда съездите, проникнетесь, так сказать...

Богата, непредсказуема на сюрпризы жизнь...

И на историю.

«Кому неизвестны хищные, неукротимые нравы чеченцев? Кто не знает, что миролюбивейшие меры, принимаемые русским правительством для усмирения буйств сих

мятежников, никогда не имели успеха? Закоренелые в правилах разбоя, они всегда одинаковы. Близкая, неминуемая опасность успокаивает их на время: после опять то же вероломство, то же убийство в недрах своих благодетелей».

Так писал поэт А. Полежаев, сосланный в своё время на Кавказ в качестве рядового.

А вот уже пронизанная горечью реплика генерала Ермолова, сказанная в 1818 году:

«Во всех случаях, где в отношении к ним хотел я быть великодушным, самым наглым образом бывал обманут».

Его современник академик Бутков, известный собиратель материалов по истории Кавказа:

«Чеченцы такой народ, который по зверским своим склонностям никогда не бывает в покое и при всяком удобном случае возобновляет противности тем наглее, что гористые места, ущелья и леса укрывают его и препятствуют так его наказать, как он заслуживает».

А великий Пушкин:

Бегите, русские девицы,
Спешите, красные, домой –
Чеченец ходит за рекой.

Ему вторил в «Колыбельной песне» Михаил Юрьевич Лермонтов:

Злой чечен ползёт на берег,
Точит свой кинжал.

Генерал Бриммер, прослуживший на Кавказе всю жизнь и ушедший со сцены в конце эпохи Шамиля, оставил еще более резкие свидетельства:

«Вообще, кумыки народ добрый, не то что соседи их ауховцы и чеченцы. Горцы, эти дети природы, как все... немыслящие люди, принимают всегда доброту за слабость».

Нынешнее поколение чеченцев не сможет упрекнуть русских в том, что наши отношения строились на этих фразах, что вообще они хоть где-либо фигурировали. Их закрыли в фондах, на них наложили негласный запрет, к ним не желали возвращаться. Мы хотели жить в мире.

К сожалению, пришли новые политики, которые посчитали себя умнее всех предыдущих. И стали печататься приведённые выше воспоминания. И вновь возобновились вроде бы забытые ритуальные танцы возмездия. Зарубцевавшуюся с таким трудом рану принялись расковыривать с двух сторон с таким ожесточением, словно не было добрососедства и взаимопонимания двух народов. В итоге доброту русскую вновь восприняли за слабость, а гордость чеченцев – за самоуверенность. И вскоре вслед за словами полетели пули...

– Эй, много хандрим, – тормозит нас Борис. – Давайте разговаривать.

Было бы о чём. Переговорено всё, а думать о будущем... О нём не мечтается... Чаще вспоминается прошлое. Но и его трогаем не скопом – это слишком расточительно, а сначала по годам, потом по дням, каким-то отдельным событиям. Так же продолжает вспоминаться и работа: не вся налоговая полиция в целом, а по этажам, по кабинетам и людям. Меня если спасут, то только они. Кем стал и был для них я? Заслужил ли, чтобы

рвали нервы, рисковали собой ради моего вызволения?

Считай свои минусы, человек. И не говори, что праведную жизнь хотел начать с будущего понедельника. Расплата идёт по цене сегодняшнего дня...

Вечером во дворе вспыхивает электролампочка. Нас тоже подтягивают к цивилизации, выдав керосиновую лампу со стеклом! А на ужин – котлеты! Они лежат тремя большими ломтями поверх гречки, и впервые оцениваем новое убежище не с минусов, а с плюсов.

– Кормёжка вроде обещает быть лучше, – пережёвываем вместе с котлетами приятное событие.

Но куда девать вечера, ночи? Грусть, рождаемую ими? Зубчики, за которые стекло крепится к лампе, дают тень, как две капли воды похожую на Кремлёвскую стену. Боже, Москва! Ведь ни разу не вспомнил о своём городе. Тысячу, бессчётное количество раз проклинал его раньше как политическую клоаку, водоворот всех смут и несчастий. Но Кремлёвская стена в чеченском подzemелье... Вдруг понимаю, что люблю Москву. Как город она прекрасна, и не вина её, что в столицах плетутся сети громких интриг. Так во всём мире. А сегодня я признаюсь в любви к ней. И каюсь за все предыдущие обвинения...

Тень отражается и от головы Бориса. Махмуд, разминаясь, бьёт её незаметно ногой. Да ещё интересуется, паршивец:

– Товарищ начальник, тебе не больно?

– Нет. А с чего бы?

– Когда ещё можно будет вот так запросто своего руководителя, – шофёр «пинает» голову Бориса, но кашель скручивает его самого.

Ничья.

Этот подвал нас, конечно, доконает окончательно. Еда не спасёт, ежели влажность пропитала всю подстилку, а стоять нельзя, сидеть не на чем. Итог перед глазами – сломанные доски. С каждым днём хуже и отношение: всё резко, без слов. Снова начали вспоминать навыки по подготовке вопросов, но на все ухищрения получали однообразный ответ:

– Ничего нет.

И вряд ли будет. Если за три с половиной месяца наши не сумели вытащить, почему должно получиться в эти дни? А каждые прожитые сутки – себе в убыток. Из охраны исчезли Хозяин, Че Гевара, Чика, а оставшийся Младший Брат благосклонностью к нам никогда не отличался.

Мы подходили к краю. Ни в какой лагерь нас, естественно, не сдадут, за спасибо не выпустят, на работах, даже в качестве рабов, использовать побоятся. А зиму мы и сами не выдержим. Да и не планируют они долго возиться с нами. На просьбу о соломе для подстилки новый охранник, подменявший Младшего Брата, угрожающе ухмыльнулся:

– Вам не солому надо давать, а такое устроить, чтоб света белого не взвидели. И вы дождётесь...

Снова возникают мысли о побеге. Осколок зеркала превращается в перископ. Просовываем его в щель, вертим по кругу, тщательно изучаем двор. Отыскиваем калитку, самые низкие места в заборе. Дом окраинный, неподалёку проходит трасса – по ночам слышим шум машин. Если продырявить зеркалом мешки, мука высыплется внутрь и появится возможность поднять крышку. Бежать, конечно, надо ночью, во время грозы,

когда от ветра гаснет электричество, а охрана сидит в доме.

И убегать никуда не следует. Калитку открыть, но самим забраться тут же на чердак, переждать первые дни суматохи под носом...

Но опять – что станет с родными?

Ловушка. Бессилие. Планы побега – не больше чем красивая страшноватенькая сказочка.

Не знаю, как мои сокамерники, а начинаю потихоньку готовиться к худшему. Ночью пишу прощальное письмо директору службы Сергею Николаевичу Алмазову. Надежды на то, что записку передадут, никакой, но и не написать не могу. Прощаюсь со всеми на Маросейке, 12, прошу, чтобы не думали, будто пленение произошло по моей безалаберности. Почему-то это подспудно тяготит весь плен, и хочется оправдаться: погони и честь офицера не пустой звук. И совершенно не безразлично, как меня станут вспоминать.

Впереди ещё два письма – родителям и семье. Но на них душевных сил не остаётся. Тяжело. Прибережённые листки откладываю, словно именно ненаписанные письма сумеют сохранить меня ещё на сутки.

Из рассказа

полковника налоговой полиции

Е. Расходчикова:

«Родственники Мусы, которых мы разыскали, сразу загорелись идеей обмена. Послали ходоков к Рамзану, отыскали его, организовали нам новую встречу.

– А какая нам выгода отдавать Иванова сейчас? Мы его подержим ещё месяца три-четыре, миску похлёбки как-нибудь найдём для такого дела. А потом и назовём окончательные условия его освобождения, – стали набивать они цену.

А я чувствую: время уходит, ситуация в Чечне меняется не в нашу пользу, мы начинаем зависеть от любых случайностей. Время, как и боевиков, требовалось подталкивать, чтобы удержать инициативу в своих руках. Но каким образом? ..

Спасти ситуацию мог лишь Муса. Прошу привезти его из Владикавказа в Грозный. Когда товар перед глазами, с ним расставаться всегда тяжелее. Извиняюсь перед тобой и Мусой, но в то время вы оба шли как товар, куда от этого деться. Его в наручниках привезла под конвоем наша физзащита. Понять руководителей можно: чеченца привезли в родные края, где практически не осталось федеральных войск. Сделает ноги – и как оправдываться перед Генеральным прокурором?

В то же время понимаю, чувствую: покажу родным Мусу в таком эскорте, полного доверия не вызову. А мне нужно только оно.

Вспоминаю, что Алмазов разрешил принимать любое решение. Окунаюсь с головой в ледяную воду – принимаю: наручники – снять, конвой – в Москву, Мусу – к родным в дом.

Пробираемся в село окольными путями. Родители как вцепились в сына, чувствую, не отдадут больше никогда. А документы на его освобождение – это в случае удачного обмена – у Саши Щукина, который из следователей остался один. Так и замерли перед последним прыжком: с одной стороны я, Гена Нисифоров, Саша Щукин и наш бессменный проводник Бауди, с другой... Ох, в какую же мышеловку полезли.

Но интуиция не подвела. Додавили ведь Рамзана всем селом, всем родовым кланом. Не знаю, чего там было больше – просьб, угроз, но нам передали: обмен в одиннадцать часов дня одиннадцатого октября».

Нам утром еду принёс тот сорокалетний мужик, который заставлял меня переписывать последнюю записку насчёт расстрела в ноябре.

Сам, без просьбы сообщает:

– У тебя, полковник, может кое-что получиться. В Москве задержали мафиози, и тебя хотят перекупить его подручные. Возможно, тайно переправим тебя в Москву, а мафия пусть разбирается с тобой дальше.

И – всё. Снова – крышка, семь мешков под спуд, граната на особо ретивых.

Радоваться? Страшно. Ещё неизвестно, что за мафиози и какие условия они выставят за мою свободу. И как переправят в Москву? В багажнике машины? Тайными тропами? Сколько это займёт времени? Почему мафия прокрутилась быстрее, чем наши оперативники?

Нет, предложенный вариант – далеко не лучший. У мафии разговор ещё короче, чем у боевиков. Не успели, наши – не успели...

Днём приехала машина из лагеря: неподалеку от нашего люка сложили гору оружия – от крупнокалиберных пулемётов до пистолетов и патронных цинков. Накрыли масксетью. Всё это отследили через «перископ», и сообщение о моей перепродаже стало расплываться. Уже столько раз свобода была «вот-вот».

Из рассказа

полковника налоговой полиции

Е. Расходчикова:

«В одиннадцать Рамзан стоял на «стрелке».

– А где Иванов?

– Деньги утром, стулья – вечером, – показал знание «Двенадцати стульев» главарь. – Сначала вы выполняете наши условия.

– А я с тобой буду говорить только после того, как напротив посадишь Иванова и я увижу, что он жив.

– Так не получится. Условия диктую я. Стулья...

– Условия будет диктовать ситуация. А она такова, что завтра я улетаю в Москву. Вместе с Мусой. И ты со своими проблемами можешь остаться один на один. И на сколь угодно долго.

– Ну ты крутой, размахался. Иванов жив, но далековато. Его надо ещё привезти.

– Поехали привезём вместе.

– А не боишься? – Непримирымый вытащил пистолет, снял с предохранителя.

– Да вроде нет, – достаю гранату, выдёргиваю чеку. – Если что, ни твоя, ни моя.

– Ну ты брось, брось. Ещё нечаянно отпустишь. Нам надо ещё кое с кем посоветоваться. Подожди.

И исчез. Проходит час, второй, третий. Я дёргаюсь, но больше не за себя, а за Москву и Моздок: знаю, всё руководство во главе с директором сидит у телефонов, все знают про

одиннадцать часов, а тут ещё конь не валялся. И связи никакой, одна граната в руке. Гена, Саша и Бауди стоят чуть в стороне: если пойдёт провокация, чтобы не уложили одной очередью. И с места ведь не уйдёшь, другого раза может не повториться.

Мимо проскакивают машины, ясно – идёт проверка. Убеждён, что весь район оцеплен, и надежда только на родственников Мусы, которые пообещали по горскому обычаю не дать гостей в обиду. А тут уже и темнота подступает.

Рамзан явился в сумерках, с дополнительной охраной:

– Ладно, будет тебе Иванов. Но чуть позже.

Всё ясно: они ждут ночи».

За миской для ужина пришли как обычно. Я подал посуду в открывшийся люк, но сверху бросили маску:

– Живо надевай и наверх. Быстрее.

От волнения долго не могу всунуть ноги в туфли. Жизнь снова, как в момент взятия в плен, круто меняется, и куда вынесет волна, одному Богу известно. А тот заранее ещё никому ничего не сообщил.

Хочу попрощаться с ребятами, но сверху хватают за руки и выдёргивают наверх.

– Скажи «асмелляй», – успевает прошептать Борис. С мусульманского на христианский – это что-то вроде «Господи, помоги».

«Господи, помоги. Асмелляй».

Маска на голове. Я вверху. Куда-то ведут, заталкивают в легковушку. По бокам, упирая автоматы в бок, тесно усаживаются невидимые и молчаливые охранники.

Выезжаем со двора и мчимся по трассе. Затем сворачиваем в лесок, пересекаем его, вновь трасса. Резкая остановка. Высаживают, перегоняют в другую машину. Снова дорога. Все молчат, но напряжение витает в воздухе. Боятся провокаций?

Наконец съезжаем на обочину, меня вталкивают в третью машину. Мимо по трассе проносятся авто, некоторые дают короткие сигналы – идёт проверка. Кому же меня передадут? Где передадут? Кто они, новые хозяева?

– Холодно, – втискивается охранник ко мне на заднее сиденье.

– Одиннадцатое октября. Осень, – осмеливаюсь ответить. А скорее, провоцирую на дальнейший разговор. Тороплюсь узнать хотя бы что-нибудь из своего будущего. Которое им-то наверняка известно. И которого, если честно, боюсь.

– А ты откуда знаешь дату? – удивился кто-то с переднего сиденья. – Дни, что ль, считал?

– Сегодня сто тринадцатый день плена, – подтверждаю удивление.

Пауза. Решают, что сказать. Ну?!

– Считай, что последний. Последний – чего?

– Тебя сейчас меняем. – Это я уже знаю. – Спросить напоследок чего хочешь?

– А... ребята? Я чем могу им помочь? – Вопрос из серии предварительных заготовок: если начнут давать советы, значит, есть надежда...

– Если есть желание, передай их родным, что сумма, которую мы назвали, остается прежней. Имя посредника, способного нас отыскать, они знают. Но без денег пусть лучше никто не появляется.

Помню:

«Даже если сам Аллах спустится за вами, но спустится без денег, – расстреляем и Аллаха!»

И песню выучил:

Пустой карман не любит ножи,
Карман командует: вперёд.

Но сейчас главное для меня – то, что боевики дают советы. Играть в чувства им нет никакого смысла, значит, в самом деле можно на что-то надеяться? Вот только кому продадут-отдадут? Мафиози в лесу или глухой деревне жить не будет, возможно, что для передачи вывезут в сам Грозный. Только были бы там свет и тепло. Хочу света и тепла. Они – словно синонимы свободы. А как переправлять потом меня в Москву, наверняка перед сделкой продумали. А если ещё подключат к разработке операции меня самого и раскроют хоть половину карт – а на это надо бы намекнуть! – сам рассчитаю все варианты и моменты передачи. После всего пережитого попасть под пулю из-за чьего-то недосмотра и куриных мозгов совсем не хочется. Надежда только на себя. Нужно с этой секунды держаться очень насторожённо и при любой опасности или оплошности прыгать в сторону. От автоматной очереди, от нового мешка на голову и очередных дней и месяцев неволи. Боевики правы: сегодня последний день. Впереди – или новая жизнь, или её конец. Третьего не дано. Третьего не хочу. Жить хочу, но и к смерти готов. Жизнь или смерть? Жизнь или смерть?..

Включается магнитофон. Неизменные воинственные ритмы. Сколько выдержат чечены подобного барабанного боя? Придёт ли к ним нормальная музыка?

Впрочем, что мне с того? Они сами заказали подобную мелодию...

С трассы вновь засигналили.

– Живо, – меня схватили за рукав и бегом потащили вперёд. – Давай шевелись, твоя жизнь зависит от тебя.

Бегу, спотыкаюсь. Успеваю анализировать: нервничают, дёргаются так же, как при захвате. В эти моменты они готовы действовать только на своё спасение и потому могут стрелять на любое неповиновение – всё спишется.

Засовывают в очередную машину, которая сразу же набирает скорость. Окна почему-то открыты, ветер свистит по салону. Конечно же, в окна выставленные стволы автоматов и «красавчиков». Что-то произойдёт. Что-то произойдёт в любом случае. Оттягивать или торопить время?

Минут через двадцать – остановка. Меня выводят, но на этот раз вроде спокойно. По крайней мере, не дёргают и не бьют. Останавливают. Чего-то выжидают. Неожиданно резко срывают маску.

Ночь. Перекрёсток полевой дороги. Передо мной толпа женщин, парень на костылях. Напротив, с автоматами на изготовку, отряд Непримиимого. И он сам, усмехающийся. А где мафиози? И почему столько народа? Обманули? Всё-таки сдают на растерзание селу, в котором погибли боевики?

Отмечаю небольшой просвет между жителями и боевиками. Значит, буду прорываться через него. Туфли совсем растоптались, в них далеко не убежишь, значит, первым делом – сбросить их. Рывок должен быть как можно неожиданнее и убежать надо

как можно дальше. Чтобы догнала лишь пуля. Она – лучше, чем люди. Всё же конец...

Опережая мой рывок, сбоку кто-то надвигается. Всё же мафиози? Но в данной ситуации я готов радоваться и ему, кем бы ни оказался. Он в свитере, в руках замечаю зажатую гранату. Почему-то обнимает меня. Слышу шёпот на ухо:

– Как имя-отчество Алмазова?

Называю, даже несмотря на неожиданность, сразу. Пугаюсь уже потом: а вдруг перепутал? И при чём здесь Алмазов? Может, это наши сработали под мафию?

– Ты – Иванов?

– Да.

– С возвращением. Поздравляю.

Снова обнимает.

– А вы... кто?

– Расходчиков. Из физзащиты.

Наши? Обмякаю в сильных объятиях. Так не умирают и не рождаются. Меня вытащили? Я буду жить?

Из рассказа

полковника налоговой полиции

Е. Расходчикова:

« – В том человеке, которого вывели из машины, тебя узнать было невозможно. Худой, заросший, в обмотках. Фотографии твои имелись у каждого оперативника, но то, что увидели... Извини, конечно, но краше в гроб кладут...

Сдержанно улыбаюсь: меня как-то хотели оставить в могиле без гроба. И обещали прикопать, чтобы шакалы не растерзали тело...

– А самая большая мечта у нас с Геннадием была – освободив, надавать пиндюлей, чтобы не лез куда не надо. А увидели – и остыли...»

– Ну что, полковник. Я тебя взял, я тебя и возвращаю, – подходит с вскинутым к плечу автоматом Непримирымый. – Авось когда-нибудь свидимся. Даст Аллах – не на войне. Сказать что-то хочешь?

Я поверил в освобождение почти сразу: наверное, потому что очень хотел в это поверить. И прошу уже как бы со стороны:

– Помогите Махмуду и Борису. В подвале очень сыро.

– Попробую, – обещает, но без гарантии, боевик.

Знать, сам не всегда волен делать то, что хочется. Ох, ребята, нет полной свободы в этом мире. И не будет. И пули ваши под красивые лозунги независимости и имя Аллаха не всегда были праведны. А уж деньги, полученные за страдания другого человека, не добавляют вам ни счастья, ни благородства...

Непримирымый неожиданно протягивает руку. Ту, которая держала «красавчика» при моём пленении. Которая сжималась в кулак, чтобы больнее ударить. Которая, в принципе, и затолкала меня почти на четыре месяца в подземелье.

Демонстративно не заметить её или всё-таки позвать? Вокруг нас суматоха «стрелки», хлопают дверцы машин, отдаются команды, мельтешат люди. Через миг мы разъедемся в

разные стороны, удерживая друг друга под прицелом. Интересно: а повернись фортуна и окажись я властителем судеб своих тюремщиков, что бы сделал?

Не знаю. Твёрдо убеждён лишь в том, что никогда не посадил бы человека в яму. И не поднял бы оружия, чтобы расстрелять. Может, даже простил бы.

Прощу ли?

Рука Непримиримого всё ещё протянута. И это лучше, чем упёртый в затылок ствол автомата.

Протягиваю свою в ответ. Как бы то ни было и что ни пришлось пережить, -- за сдержавшего своё слово не пускать в расход без нужды Старшего. За Литератора, бросившего однажды в яму пакетик «Инвайта». За Хозяина, ни разу не поднявшего на нас руку и не повысившего голос. За Че Гевару. Чику, научившегося на войне не только держать в руках оружие, но и гитару. Крепыша, Боксёра и даже Младшего Брата. Пусть они видели во мне лишь пленника и будущие деньги, – я в ответ сумел разглядеть в них и ту толику доброго, что ещё заставляла меня думать о них как об ожесточившихся, но – людях.

Поэтому вместо проклятий и презрения – моё им прощение. Это тяжелее и пока дается через силу. Может, завтра пожалею об этом. Наверняка пожалею. Но Хозяин однажды радовался, что он чеченец, а не русский и не еврей. Зато испокон веков русские, как никто другой, умели прощать. Что намного благороднее других человеческих качеств. Поэтому я тоже горд и счастлив, что родился русским. Ничего не забываю, но прощаю.

Ради будущего.

Хотя нет, я не прав. Моя протянутая рука – это в первую очередь страх за Бориса с Махмудом и неловкость перед ними. За то, что я на свободе, а они... Вскину гордо подбородок я – что падёт на их головы? Мы слишком долго были вместе и очень сильно зависим друг от друга. Даже если дадут одеяла и им станет чуточку теплее под землёй, я готов на рукопожатие.

Протягиваю руку ещё и потому, что всё же сам окончательно ещё не верю в освобождение. Мне никто ничего толком не объяснил, и эта встреча посреди дороги может оказаться лишь «стрелкой», демонстрацией, что я жив. А после неё – опять все в разные стороны на долгие недели новых переговоров. А я уже научен: охрану раздражать – себе дороже.

Поэтому фраза «ради будущего» – то ради моего личного будущего и будущего оставшихся в неволе соподземельников. Я ещё даже не снимаю топорчащийся из-под костюма корсет: вот выброшу, а как потом стану греться, где возьму новый, когда снова попаду в яму? Не трогаю и обмоток, путающихся меж ног. И, наверное, всё-таки прав Махмуд насчёт моего хватательного рефлекса: если на происходящее смотрю с неверием, то на серый шерстяной свитер Расходчикова – с вожделием. Если нас всё же станут развозить в разные стороны, надо будет успеть попросить у него одежду. А он в Москве возьмёт мою...

Слышу гортанную команду – мгновенно реагирую только на неё. Боевики, пятась, не спуская глаз и автоматов с толпы, отходят к машинам, хлопают дверцами и исчезают в пыли и темноте. На какое-то мгновение остаюсь совершенно один, потому что Расходчиков отходит к толпе селян, о чём-то переговаривается с парнем на костылях. Я один, совершенно один, и теперь в самом деле можно бежать в темноту и даже попытаться

скрыться. Не забыть сбросить туфли, хотя и придётся бежать босиком...

– Всё, теперь домой, – останавливает мою попытку вынырнувший сбоку Расходчиков.

А гарантия есть ехать домой? Он всё предусмотрел? Рядом с ним всего двое русских, их лица знакомы – значит, из налоговой полиции. Но три человека – это так мало, это практически ничто во враждебной Чечне. Поэтому не надо сбрасывать со счетов вариант, когда можно бежать в чёрные горы...

– Домой, домой, – загалдели чеченцы.

Впервые усаживают в машину без повязки на глазах. Впервые не упирается под рёбра ствол «красавчика». Но всё равно пока ни во что не стану верить! Сто тринадцать дней ничего не происходило, а тут – нате вам? С чего бы это?

И в то же время как сладостно-томительно не верить в хорошее, когда в подсознании стучит: «Верь, верь, верь».

Мы сдавлены в «Жигулях», верёвки корсета больно врезались в грудь. Потихоньку сначала ослабляю узлы, а затем развязываю их полностью. Стараюсь побыстрее и побольше надышаться – то ли свежим воздухом, то ли свободой.

На скорости въезжаем в село с редкими огоньками. Машина натужно вытягивает себя на пригорок, где нас ожидает ещё большая толпа. Жители замахали руками, возбуждённо заговорили. Радуются? Ещё остались чеченцы, которые радуются моему освобождению? Как мне теперь к ним относиться?

А первое, что делают мои трое русских спасителей, – обнимаются сами. Значит, интуиция не подвела меня и встреча на ночном перекрёстке висела на волоске?

– В дом, – приглашает сухощавый старик. – Все в мой дом. Сегодня у нас праздник.

Чистая постель, сухо, тепло, я вымыт и переодет – а не спится. Изворачиваюсь, перекомкаю подушку и простыню, усаживаюсь на тахте падишахом.

У ног, на полу, по-солдатски одинаково повернувшись на правый бок, спят мои спасители. Под окном, начинающим сереть от рассвета, иногда слышны осторожные шаги. Это Муса, мой крестник, столь удачно подыгравший под мафиози. Как только Саша Щукин поставил свою подпись под документом о его освобождении, Муса исчез в доме и вернулся с пулемётом на плече.

– Спи спокойно, он с друзьями будет вас охранять, – пояснил его отец, глядя на сына и всё ещё не веря в его освобождение.

Но лично мне не спится. Не то что боюсь проспять отъезд или не доверяю Мусе. В глазах стоят укутавшиеся в сырые одеяла Борис и Махмуд. В яме. Могу представить, как тяжело им перенести мой отъезд. Скажут ли им, что я на свободе? Или исчез – и исчез?

Где-то в глубине души я всё время боялся остаться в плену в одиночестве. Даже сейчас, сидя на тахте, предполагаю, что бы делал в таком случае. Конечно, соорудил бы из освободившихся одеял шалаш или вагонное купе – не терять ни одной доли тепла. Подмёл бы прутиком, найденным за банками, весь подвал – это могло занять уйму времени! Следом идёт протирка от пыли и влаги подвальных банок, их аккуратная перестановка. Можно сделать зарядку – на коленях, правда, но не привыкать. Таким образом я бы убил

целый день одиночества. Но сколько их могло ждать впереди?

Передёргиваюсь от озноба. Не верю. Да, я не сплю потому, что не верю в освобождение. Усну – а проснусь снова в яме. Второго раза не выдержу. Лучше оставаться в том, первом плену...

– Чего не спишь?

Женя Расходчиков, словно почувствовав мой взгляд, поднимает голову.

– Не знаю. Не спится.

Он ползёт к тахте, усаживается рядом.

– Всё нормально, всё позади, – прекрасно понимает он моё состояние. – Утром выскочим отсюда, а дальше – свои. Руководство, чёрт побери, жалко. Уже сутки не даём о себе знать. Представляешь, с какой ненавистью и одновременно с надеждой глядят в Москве на телефоны?

Вчера вечером гадали: вырваться из района ночью или всё же дожидаться утра.

– Утром безопаснее, – взял на себя ответственность Расходчиков. – Ночь для Москвы станет кошмарной, но ехать в темноте – риск значительно больший. Могут перехватить или элементарно расстрелять машину. Остаёмся.

– Ночью они к нам не сунутся, а с рассветом придёт подмога, – обещает Ахмат, тот самый парень на костылях, который встречал меня на развилке. Вместе с женщинами, родственниками Мусы он специально выезжал на «стрелку», гарантируя таким образом: со стороны Расходчикова и федеральных войск никаких провокаций не намечается. Боевики смертельно боялись подвоха, не скрывали этого и на любые гарантии заученно твердили: «Русским нельзя верить, у них нет слова чести».

– На каких условиях меня обменяли? – спрашиваю у Жени.

– Тебе это сейчас важно? – пожимает он плечами. – Главное, что вырвали. «Есть у Родины тайны, которые умирают вместе с солдатами», – так, кажется, сказал кто-то из поэтов. Потом сам всё узнаешь.

– А ребят нельзя было вместе со мной?

– К сожалению. По каждому человеку отработывается отдельная операция, стандарта как такового нет. Что получилось с тобой – никогда не пройдёт с другими. Ты нас только извини, что раньше не смогли вытащить.

Раньше... Из неволи, как шутят сами пленники, дай Бог выходить не раньше, а хотя бы вовремя. Мой день – 11 октября. Кстати, день рождения отца.

– Как у меня дома? – осмеливаюсь наконец спросить о том, что вертелось на языке с первой минуты встречи. Я ещё много боюсь. Плохих вестей – в первую очередь.

– Всё в порядке, ждут. Теперь дождутся. Осталось немного.

Женя тянется к столику, достаёт пистолет. Из рукоятки выщёлкивает магазин с единственным патроном. Выдавливает его пальцем на ладонь, пробует на вес и протягивает:

– Держи на память. Он не выстрелил. А потому ты на свободе.

Приподнял голову Бауди, проводник:

– Пора?

– Нет ещё, спи. Я тоже ещё немного подремлю, двое суток на нервах.

Он укрывается одеялом, а я опять возвращаюсь к Борису и Махмуду. Осторожно сажусь в ногах, около бледно горящей лампы. По язычку пламени лучше любого

барометра можно определять, сколько остаётся воздуха в подвале. В «пенале» его запасов – от утра до вечера, так что, если забудут принести ужин, лишат не просто еды, а глотка свежего воздуха.

Махмуд спит, разбросав руки – сколько раз мне доставалось от них. Борис укутал голову рубашкой – это пошло с тех пор, как его укусила в макушку какая-то гадость и ранка долго гноилась. Спите. Я привык бодрствовать по ночам...

Утром нас вышла провожать половина села. На трёх машинах подъехали вооружённые с головы до ног парни, взяли нас в середину кортежа. То ли специально, то ли иной дороги не существовало, но проехали мимо дома Непримиримого. Наверняка и тот сидел не без охраны, но никто никого не тронул: родовую войну в Чечне развязывать никто не решался.

Сложнее пришлось, как я понял, начальнику налоговой полиции Чечни, которого мы разыскали в Надтеречном районе – пророссийски настроенном и демонстративно не подчинявшемся новой власти. Он обнял меня, провёл в дом. Я не читал соглашений, подписанных Лебедем и Масхадовым, в них главное – окончание войны. Но какой ценой? Если люди, которые желали жить вместе с Россией, работали рука об руку с нами, вынуждены теперь сами скрываться по подвалам в родном краю, то что это за соглашение? Может, тогда соглашательство? Почему Москва бросила их? Ради высшей цели – мира? Но никто не даёт морального права бросать союзников. Любые соглашения становятся филькиной грамотой, словесной эквилибристикой, когда в реальности видишь брошенных на произвол судьбы людей.

Странная война. Ещё более странно её окончание...

Когда выехали из войны и попали в Моздок, в объятия начальника местной налоговой полиции Петра Ильича, Расходчиков поинтересовался:

– Ну, а теперь-то веришь, что свободен? Нет, ещё не дошло. И даже когда позвонили к телефонному аппарату и директор лично поздравил с освобождением, когда услышал голос жены, а детям ребята закупили два пакета подарков – прошлое всё равно не отпускало.

– Билет на Москву завтра из Минеральных Вод, – выстелил дальнейшую дорогу из плена Петр Ильич.

В его кабинете незнакомые прежде мне люди во главе с Василием Ивановичем Лисовым – насколько понимаю из реплик, специально присланные Сергеем Николаевичем Алмазовым подстраховать операцию с самой ближней точки.

В Ессентуках в гостинице наконец-то смог уснуть. И сразу окунулся в жуткую картину: я лежу за кирпичной кладкой, а с двух сторон ко мне бегут Непримиримый с бандой и Женя Расходчиков с группой. Чувствую, что наши не успевают, а это значит – снова плен.

Подхватился от собственного крика. Какое-то время не мог понять, где я и что со мной. По радио дали сигнал точного времени – восемь утра. Начались последние известия. И вдруг в эфире звучит:

– В результате специальной операции оперативников налоговой полиции России вчера освобождён из чеченского плена писатель полковник Николай Иванов.

Всё. Вот теперь – всё! Верю. Впервые за последние годы верю официальному сообщению, потому что в нём до последней буквы – правда.

И как же тяжело, оказывается, сдерживать чувства.

Утыкаюсь лицом в подушку, чтобы задавить подступившие слёзы. Слишком часто – дважды в плену и вот сейчас – даю им волю. Но сил справиться с ними не хватает. Ослаб. А может, пусть выходят, пока я один и никто не видит? На свободе ведь, на свободе! И могу делать всё, что хочется. Меня никто не держит. Не стережёт. И ключ от двери – меня самого. В окно бьёт луч солнца, на деревьях – ещё не опавшие листья. Что нам ещё надо, люди?!

...Дайте мне выплакаться, люди. Чтобы оставить всё в прошлом.

Если получится.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Долгожданный звонок из Нальчика раздался через шесть дней.

– Блиндаж-баши, это Махмуд-апа. Докладываю: карты сохранил и вынес на собственном теле.

– Николай, а это Борис. Мы дома.

– Вы живы? Не верю. Давайте я вам сам перезвоню.

– Всё в порядке. Главарь передаёт тебе привет. Говорит, не ожидал, что ты, русский, займёшься нами, кавказцами, и сумеешь за такой короткий срок вытащить на свободу.

– Чтобы добыть деньги, заложили в кредит здание вашего банка.

– Знаю. Но когда свободен – можно крутиться и заниматься своей судьбой. А ты всё-таки должен доехать до Нальчика. Путь нельзя прерывать.

– Доеду. И после никогда не буду играть в города.

– И ходить в зоопарк – напоминает о наших клетках Махмуд. – Давай, до встречи.

Короткие гудки, словно многоточие в романе. Или в судьбе.

И не ради красного словца сказано. Ещё месяца через два телефонный звонок поднял меня среди ночи.

– Алло, это полковник Иванов?

– Да. С кем я разговариваю?

– Это из Грозного. Вы меня не узнаете?

– Нет.

Долгая пауза – решали, называть ли имя. Неужели Старший?

– Вы меня в плену звали Боксёром.

Боксёр?

– Я слушаю.

Я мог только слушать, потому что не ведал, с какой целью бывший тюремщик набрал номер моего телефона. Настороженность и интерес – вот два чувства, которые, перебив сон, боролись теперь во мне.

Только на днях был подписан Указ Президента о награждении Расходчикова и Нисифорова орденом Мужества, а генерала Колывагина, Петра Ильича Царакова и Сашу Щукина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Наградные листы ходили долго, где-то чиновники удивились: «Вот если бы они десяток людей спасли...» –

«Но у них-то самих жизнь одна, и они рисковали своей единственной жизнью», – доказывало руководство налоговой полиции.

Доказали, убедили. Плюнув на весь курс лечения, поднял за них тост. И вот звонок...

– Я вас видел по телевизору...

Он называет меня на «вы»?

– А ты как исчез из охраны, так и не попрощались.

– Мы брали Грозный. Был ранен.

– У тебя какие-то проблемы? – спросил в лоб. И откровенно на «ты».

– Проблемы... – грустно усмехнулся и надолго замолчал собеседник.

Почему-то не хотелось, чтобы он бросал трубку, и торопливо сам заполнил паузу:

– Что-то случилось?

– Да нет, что могло случиться? Кроме того, что не получили желаемого, за что боролись. Власть захватили те, кто отсиживался у вас в Москве и не держал в руках оружия. Но отрастили бороды, приехали на «мерсах», а нам...

Всё ясно: а их, деревенских парней, снова посылают пасти баранов.

Кажется, он угадал моё мысленное продолжение разговора. Но всё же добавил:

– А в Россию нам нельзя, для вас мы – террористы.

Снова пауза. Чувствую, что звонит не ради того, чтобы поплакаться в жилетку. Боксёр не из таких. Больше всех мне нервы мотал, но в то же время не был тупым исполнителем, пытался думать...

– Я чего вам позвонил, – упорно продолжает называть меня на «вы». – Я слышал, что вы говорили по телевизору, читал ваши заметки. На днях внимательно пересмотрел записи, которые отобрали у вас. И понял: вы ничего плохого Чечне не сделали. А вот мы, чеченцы, сделали вам и вашей семье очень больно. Я хочу... извиниться.

Я встал. Сел. Включил свет. Прошедшее кольнуло столь больно, что почувствовал слёзы. Но это была та боль, после которой наступает облегчение. Ведь Боксёр мог и не звонить...

– Спасибо. Спасибо тебе за звонок.

– И ещё, – теперь уже торопливо добавил чеченец. – Я за вас не получил ни копейки. Хочу, чтобы вы знали об этом. А записи ваши сохраню и попробую каким-то образом передать. До свидания.

– Что случилось? Кто звонил? – на меня смотрела испуганная жена. – Ты что, плачешь?

– Это от возбуждения. От очень хорошего звонка.

– Но кто звонил?

– Боксёр. Который обещал уши отрезать. Кажется, он закончил свою войну. А я, видимо, окончательно вышел из плена...

* * *

Но и это оказалось ещё не всё, и точку в своей пленной эпопее я всё же поставил сам. Когда за Чечню всё же решили взяться всерьёз и в 1999 году началась

контртеррористическая операция, вышло постановление правительства о создании газеты «Чечня свободная» – для освобождённых районов республики. Редактировать её определили моего товарища по Львовскому политучилищу Владимира Гондусова, возглавлявшего силовую редакцию в РИА «Вести». О его командировке я узнал, когда пересеклись с ним случайно в метро. Пожелал счастливой дороги – на том и расстались.

Но на работе мной вдруг овладело непонятное чувство. Казалось, после всего случившегося я в сторону Чечни и смотреть не смогу, а тут неожиданно все мои мысли – о ней. И ещё не оформившаяся, не утверждённая окончательно мной самим идея: а что, если поехать туда ещё раз? Боевики как-то иронизировали, что, если оставят меня живым, то пригласят когда-нибудь посмотреть на те места и ямы, где таскали меня с завязанными глазами. А я вот возьму и приеду сам, без приглашения. Тем более, что ко второй войне у меня отношение совершенно иное – на сей раз чеченская сторона не смогла оказаться благородной, затуманились мозги о правлении едва ли не всем миром. Надо глянуть и на таких чеченцев – побитых после боя, сникших...

«Авантюра», – признаюсь самому себе, но решаюсь сыграть в русскую рулетку.

Оглядываю кабинет. На рабочих местах лишь мои сослуживцы Оксана Кузина и Татьяна Павлова, мужчины курят. Обычно говорят: послушай женщину и сделай наоборот. Как ляжет карта, если вскрыть колоду?

Почувствовав мой пристальный взгляд, женщины молча вопрошают: что-то хотите спросить?

Спрашиваю:

– Да или нет?

На меня смотрят с непониманием, но в конце концов единодушно «советуют», желая, конечно же, лучшего:

– Пусть будет «да»!

Послушай женщину и сделай наоборот...

– Пусть будет.

Набираю телефон Гондусова, напрашиваюсь в заместители. Тот не верит, пытается напомнить, что я получил в тех краях...

А мне главное – чтобы о поездке не узнали жена и родители. Уж они-то не пожелают ни принимать, ни понимать никакие аргументы. Да и есть ли они, кроме моего внутреннего состояния?

– Скоро выборы, – начинаю забрасывать удочку дома за ужином. – Предлагают войти в предвыборный штаб генерала Николаева...

– Тебе это надо? – интересуется жена.

– Думаю, да. Посмотрю изнутри, как и что делается в предвыборных технологиях. Только вот ехать далековато – Камчатка, Сахалин, по всему Дальнему Востоку.

– А почему туда?

Но как раз фамилия генерала А. Николаева выбрана не случайно, хотя он лично и баллотируется в Москве:

– Так он же бывший пограничник. Вот по всем дальневосточным заставам и поедет. Но минимум на два месяца.

Жена завидует: посмотрю такие благодатные места. В конечном итоге соглашается на поездку и лишь просит купить ей пимы, ходить зимой по снегу.

Куплю.

С генералом Николаевым и влетаю в историю буквально через неделю. Оказалась возможность позвонить из штаба объединённой группировки войск домой, а мне радостную новость: звонил Юрий Александрович Виноградов, президент Международной ассоциации писателей баталистов и маринистов, хотел пригласить на вечер, где он будет вручать медаль К. Симонова генералу... А. Николаеву. Узнав же, что я как раз «агитирую» за него на Дальнем Востоке, обрадовался:

– Я ему при вручении и скажу, что мой первый вице-президент с группой ведёт сейчас агитационную компанию за него. Как всё к месту!

Представляю лицо генерала, ни сном ни духом не ведающего, что кто-то где-то прикрывается его именем...

Успеваю поймать по телефону Виноградова, умоляю молчать о моей персоне.

Только слух уже пошёл среди знакомых о моём «агит-шоу», и когда на аэродроме в Моздоке я случайно столкнулся с корреспондентами своего бывшего журнала «Советский воин», у тех от удивления глаза полезли на лоб:

– Вы здесь? А нам на редколлегии сказали: всё, Иванов тоже сломался, за три тысячи баксов полетел на Дальний Восток протаскивать какого-то «быка» в Госдуму.

А я за 55 рублей командировочных мотался по Чечне, вслед за войсками подбираясь всё ближе и ближе к местам, где меня взяли в плен. Писал про восстановленные мосты, про сев озимых, начало занятий в школах, об обнаруженных зинданах, горящих нефтяных скважинах, освобождении из плена людей. И добрался-таки до той самой дороги, где три года назад была остановлена наша «Нива». Вышел на неё из автомобиля один, специально без оружия. Прошёлся по трассе. Вот теперь точно – всё! Точка. И сказал себе: мы должны добираться до тех мест, которые когда-то наметили в своей жизни. Мы ли не русские офицеры, чёрт возьми!

Вместе со сдержанным удовлетворением получил и бессонницу. Прошедшее оказалось слишком памятно и близко, оно никуда не исчезало и потребовалось лишь малое напоминание, чтобы всё всколыхнулось, пустило волны. Ложусь спать, закрываю глаза – и сразу ямы, ямы, ямы. И нет никакой уверенности, что мне удастся из них когда-либо выбраться. Удивился: почему нет согласованности между нервами и душой?..

При первой okazji приехал в здание налоговой полиции Моздока, куда меня привозили сразу после освобождения. Лариса, секретарша, вспомнила меня сразу, лишь я изобразил бороду и худобу. Как и прошлый раз, засуетилась с чаем. Начальник отдела Петр Ильич Цараков перешёл служить в МВД, стал заместителем начальника городской милиции, но примчался сразу, лишь вышли на его мобильник. Распорядился, где будем ужинать. Познакомил с братом, родными.

Увиделись и с Бауди, проводником – он сам разыскал меня во Временной администрации Чеченской республики. Привёз домой, усадил за стол, и первый тост мы подняли за Евгения Расходчикова и Геннадия Нисифорова. Геннадий к этому времени перешёл на службу в органы юстиции, стал генералом. Не обошла офицерская звезда и Евгения Расходчикова, который возглавил Управление физической защиты налоговой полиции и на его плечи также легли генеральские погоны. После моего возвращения из этой второй чеченской командировки он будет назначен старшим группы по воссозданию налоговой полиции Чечни и тоже уедет в наши «родные» края.

– Возьми меня с собой, – попытался попроситься я в его группу.

– Понимаешь, мне там работать нужно будет, а не заниматься тобой, – отшутится Женя. – Ты вышел из доверия. Давай лучше ошибки исправим.

Он шёл с документом в корректорскую группу к Елене Павловне Шастиной, в буквальном смысле вычищающей в документах наши грамматические и стилистические неточности. Только и она ведь бессильна удержать нас от ошибок, которые мы допускаем в жизни. Да и не подпадают зачастую наши поступки под чёткие правила, а в русском языке достаточно много исключений... К тому же на пятилетний юбилей освобождения Евгений подарит мне каску, в которой спецназовцы ходят на штурм. Надеясь: не суй свою голову куда не следует. А уж если лезешь – то береги её.

Но мы сделали вдвоём с Владимиром Гондусовым «Чечню свободную». Сами собирали материалы, сами писали их, редактировали, набирали на компьютере, макетировали, везли дискеты в Минеральные Воды в типографию. Привозили номер и сами распространяли его по освобождённым районам. Тираж – 20 тысяч, периодичность – два раза в неделю. Вот тут воистину белке в колесе позавидовать можно было. Как постоянно подчёркивал редактор, среди войны, беженцев, недоверия мы должны были делать газету с добрыми вестями и хроникой возрождения. Это мне-то – вместо мщения...

Тайно в душе надеялся на встречу с кем-либо из своих конвоиров. И ловил себя на мысли: попадись Хозяин, Чика, Литератор или даже Боксёр – постарался бы в чём-то помочь. Извечная русская жалость к противнику? Или воистину доброе – даже в мелочах – помнится ярче?

Не встретились.

Зато мы сделали газету. Для тех чеченцев, кто хотел остаться с Россией, – про них очень мало писала наша пресса, журналисты норовили отметить интервью с боевиками. Там, в Чечне, узнал дополнительные подробности своего освобождения. Моими поисками активно занимался Рамзан (фамилию его лишней раз не стану афишировать, да и суть не в ней). Боевики не простили ему заботы о русском офицере, но, не имея возможности достать его самого, пошли на гнусность – захватили в заложники его отца.

Около двух лет сельский кузнец провёл в кандалах в подземных ямах. И снова Рамзан, рискуя собой, приехал из Москвы в Чечню на поиски отца. Два года не брил бороду: дал зарок, что возьмёт в руки бритву лишь тогда, когда отец окажется на свободе. И нашёл, и освободил его. И помогли ему в этом теперь уже наши офицеры. И слушал я рассказы о том, как замуровывали дудаевцы чеченских милиционеров в стены за то, что те носили российскую форму. Как учителя заставляли ходить в школу и 12-й, и в 13-й класс своих выпускников – лишь бы те не ушли в банды. Об этой, «нашей» Чечне мы знали совсем мало, поэтому возвращался я домой «с Дальнего Востока» на необычайно душевном подъёме. К тому же, как бы то ни было, меня в плену унизили полным бесправием, и вот теперь я вернул ещё и должок. И что принципиально важно – снова без оружия.

...Петр Ильич Цараков подарил на память кавказский кинжал, и жена, увидев меня, бородатого, с ним, воскликнула:

– Ты как чеченец.

Я засмеялся, и она, мгновенно поняв всё, заплакала. Только всё равно по сравнению с

предыдущим возвращением это были другие слёзы.

А вернувшийся из командировки Женя Расходчиков привёз всё же весточку об одном из моих «крестников». При попытке прорыва через блок-пост омских омовцев был расстрелян в своей автомашине Рамзан Багулов – Непримирымый. Его остановили на одном из блок-постов, стали проверять. Ничего подозрительного вроде не обнаружили. Но, отъезжая, боевик по-чеченски бросил что-то оскорбительное в адрес омовцев. Те мало что поняли, но передали на следующий пост – задержите машину и перепроверьте ещё раз. Словно почувствовав опасность, Багулов бросил машину на прорыв. И удостоился точной очереди. При тщательной проверке в машине нашли оружие, документы, подтверждающие его связь с бандформированиями.

Вечером я наполнил рюмку, но так и не определился, за что мне её поднять: за смерть или упокой. В конечном итоге выпил за здоровье и счастье всех близких мне людей. А Непримирымый выбрал свою судьбу сам, возжелав красивой жизни...

И лишь единственная мысль после плена не давала мне покоя. Помнил, как однажды, в самой глубокой яме, я обещал себе: если выберусь – полечу на Северный полюс и прыгну на макушку земли с парашютом. И это будет моим окончательным выходом из плена.

Нашёл тех, кто организует эти прыжки и полёты. Не нашёл лишь денег для данного «удовольствия»: сначала затребовали за прыжок пять тысяч долларов, потом сумма стала расти. Не взятая высота будоражила, царапала сердце, и даже поездка в Аргунское ущелье не давала успокоения. И вдруг однажды на родине Василия Макаровича Шукшина, в Сростках, на горе Пикет, куда пришли тысячи людей в его день рождения поклониться великому мастеру, я осознал: а ведь самые высокие вершины России – это её духовные центры. Это поле Куликово, Бородино, Прохоровка, Сталинград, Оптиная пустынь, Дон Шолохова, Пикет Шукшина. Никуда не надо лететь и прыгать. Надо приходиться сюда, всматриваться, вслушиваться и становиться на колени перед родной землёй.

И хотя в суворовском училище зарубили на лбу, что мужчина, а тем более офицер, на колени может опуститься только в трёх случаях – чтобы попрощаться с Боевым знаменем, поцеловать женщину и испить воды из родника, но там, на Алтае, я нарушил эту традицию. И встал на колени в четвёртый раз – перед одной из духовных вершин России, перед моей землёй. И на этот раз уже окончательно вышел из плена...